Анненская Александра Никитична
Гоголь. Его жизнь и литературная деятельность



ГЛАВА I. СЕМЬЯ И ШКОЛА

Родительский дом. — Даровитый, отец и домовитая мать. — Страсть к театру в семье Гоголя. — Лицей князя Безбородко. — Отсутствие друзей у Гоголя в школе. — «Таинственный Карло». — Ранние проблески наблюдательности. — Слабая постановка преподавания в лицее. — Невежественные учителя. — Леность Гоголя. — Домашние спектакли. — Маленький библиотекарь. — Первые стихотворные опыты Гоголя в школе. — Он делается редактором школьного журнала. — Мечты о службе в Петербурге. — Дружба с Высоцким

Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 19 марта 1809 года в местечке Сорочинцах, на границе Полтавского и Миргородского уездов. Отец его был небогатый полтавский помещик, и раннее детство Николай Васильевич провел в кругу семьи, в родовом имении отца, селе Васильевке. Картины природы и быта Малороссии, которые впоследствии наполнили живыми образами произведения Гоголя, окружали его в первые годы жизни, будили первые впечатления его души.

Низенький, ветхий домик с затейливыми зубцами вдоль крыши, с боковыми башенками и остроконечными окнами по углам, вокруг него старый тенистый сад, за садом на холме белая одноглавая церковь, у подножия ее село с маленькими домиками и группами высоких деревьев

— вот та обстановка, среди которой рос и развивался от природы мечтательный ребенок.

Отец его, Василий Афанасьевич, был человек очень неглупый, необыкновенно остроумный, много видавший и испытавший на своем веку, неистощимый балагур и рассказчик. В Васильевку беспрестанно собирались близкие и дальние соседи; гостеприимный хозяин радушно угощал их произведениями малороссийской кухни и потешал рассказами, приправленными солью чисто малороссийского юмора. Тут-то, среди этих соседей, нашел Николай Васильевич прототипы своих Афанасиев Ивановичей, Иванов Никифоровичей, Шпонек, Голопузей и проч., и проч.

Недалеко от Васильевки, в селе Кибинцах, жил в то время известный Д. Н. Трощинский. Отставной министр, богатый вельможа, он устроился в своем сельском уединении на широкую ногу. Его окружал целый штат всевозможной прислуги, шутов, приживальщиков, бедных родственников. В доме его собиралось многолюдное общество, беспрестанно давались пиры, празднества, и между прочим устроен был домашний театр. Василий Афанасьевич, дальний родственник Трощинского, был своим человеком в его доме. Бывший государственный деятель успел оценить оригинальный ум и редкий дар слова соседа. Кроме того, Василий Афанасьевич, страстный театрал, принимал самое деятельное участие в постановке спектаклей его театра. В то время только что появились «Наталка Полтавка» и «Москаль Чаривнык» Котляревского; пьесы эти восхищали малороссов и возбуждали в них желание заменить переводы французских и немецких комедий сценами, взятыми из родной действительности. Василий Афанасьевич написал несколько комедий из малороссийского быта для театра Трощинского, сам дирижировал постановкой их и исполнял в них разные роли. Не знаем, присутствовал ли маленький Никола, как звали Николая Васильевича в семье, на представлении этих пьес в доме богатого родственника, но, во всяком случае, он слышал толки и разговоры о них, был свидетелем всей той веселой суеты, которая обыкновенно сопровождает устройство домашних спектаклей, и это зародило в душе его вкус к театру, к драматическим представлениям.

От отца Николай Васильевич унаследовал юмор, дар увлекательного рассказчика, любовь к искусству вообще и к театру в особенности; мать передала ему горячее религиозное чувство и стремление приносить пользу окружающим, если нельзя делом, то хоть советом, хоть словом утешения и одобрения. Марья Ивановна Гоголь была, по отзывам всех знавших ее людей, в высшей степени симпатичная личность. После раннего замужества она почти безвыездно жила в деревне, сосредоточив все свои интересы на тесном круге семьи и хозяйства. Василий Афанасьевич умер, когда старший из детей, Николай Васильевич, еще

учился в лицее, а кроме него дома было пять девочек; воспитание детей и все заботы по хозяйству в имении лежали исключительно на Марье Ивановне.

«Мало что езжу по хозяйственным делам, и дрожки никогда не откладываются, а только переменяют лошадей», — описывала она свое времяпровождение одному родственнику, — «надобно еще смотреть за порядком в доме, за детьми маленькими смотреть и о больших думать». Эти хлопоты не мешали ей строго исполнять все религиозные обряды и вести деятельную переписку с родными и знакомыми, а особенно с сыном. Николай Васильевич был уже в Петербурге и хлопотал о поступлении на государственную службу, а она все еще считала необходимым писать ему «несколько строк морали», так как он «еще не установился». Во всей переписке Марьи Ивановны беспрестанно выказывается ее смиренная покорность воле Провидения, ее искренняя любовь к окружающим, ее практический, здравый смысл, странно соединявшийся с самым наивным незнанием людей и общественных отношений. Гоголь до конца жизни относился к матери с самой нежной любовью; она обожала его и гордилась им. Его первые ученические сочинения хранились как драгоценность в Васильевке, малейшая невзгода его мучительно тревожила мать, она хвастала его литературными успехами и в кругу своих знакомых прямо называла его гением. К ней, как имеющей «тонкий наблюдательный ум», обращался Гоголь из Петербурга с просьбой сообщить ему названия разных частей малороссийских костюмов, разные народные предания и поверья, разные малороссийские обряды и обычаи.

Книжное обучение Николая Васильевича началось довольно рано. Восьми лет он уже учился грамоте у учителя-семинариста, а на следующий год отец отвез его и младшего брата Ивана в Полтаву и поместил их у одного учителя, который должен был приготовить их к поступлению в гимназию. У этого учителя дети прожили недолго. В следующем году, когда их взяли на каникулы домой, маленький Иван заболел и умер, а родителям жалко было отправлять к чужим людям Николу, сильно скучавшего о брате, и они оставили его на несколько месяцев дома. В это время в Нежине открылась «Гимназия высших наук», или Лицей князя Безбородко, и в начале 1821 года Василий Афанасьевич поместил туда сына.

Гимназия была еще плохо организована, в ней насчитывалось всего около 50 воспитанников, разделенных на три отделения; учебный персонал был не в полном составе. Но зато помещение ее было просторное, в больших классных и спальнях много света и воздуха, а вокруг расстилался густой, тенистый сад, почти лес, и протекала тихая речка, полузаросшая камышом. В этом саду дети проводили все время, свободное от классных уроков. Надзор за ними был очень слабый, и им

предоставлялось самостоятельно развивать свои нравственные и умственные силы, без руководства старших, исключительно в кругу товарищей. Многие проводили все время в праздности и шалостях, но более даровитые личности не удовлетворялись ребяческими играми. В обширном саду им было где уединиться от шумных товарищей; в укромном тенистом уголку они углублялись в книгу, впервые пробудившую в них любовь к мысли и знанию; взгромоздясь на сук какого-нибудь старого дерева, они обдумывали и даже набрасывали на бумагу свои первые опыты литературных произведений.

Когда Гоголя привезли в лицей, это был худенький, болезненный 12-летний мальчик; лицо его поражало прозрачной бледностью, вследствие золотухи у него была частая течь из ушей. Он дичился новых товарищей, устранялся от их шумных игр. Такого рода новички обыкновенно не нравятся школьникам, и Гоголь долго был жертвою их насмешек и разных проделок. Чтоб Николе было не так жутко среди чужих, родители отправили с ним вместе своего крепостного лакея, Симона, который должен был исполнять роль слуги в пансионе при гимназии, а главное — ухаживать за «барчонком». Первое время Гоголь сильно скучал по семье и родном доме; тоска эта особенно усиливалась вечером, когда он ложился в постель. Часто Симон просиживал над ним целые ночи, утешая его, уговаривая не плакать.

Мало-помалу мальчик привык к школьной жизни, перестал чуждаться товарищей, с одним из них сблизился, на насмешки других отвечал такими меткими и едкими сарказмами, что шутникам приходилось прикусить язык. Гоголь никогда не был резвым шалуном. Слабый и тихий от природы, он не принимал участия не только в буйных шалостях мальчиков, но даже в играх, требовавших напряжения физических сил; одурачить учителя, запустить гусара в нос сонному товарищу, снабдить кого-нибудь метким прозвищем — это было по его части. Одного лицеиста, часто нападавшего на него, он прозвал за коротко остриженные волосы: «Расстригою Спиридоном», и вот вечером, в день именин его, он уставил в гимназическом зале транспарант собственного изделия с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,

Пугалище дервишей всех

И… строптивой

Расстрига, сотворивший грех

И за сие то преступленье

Достал он титул сей

О чтец! имей терпенье,

Начальные слова в устах запечатлей.

Один раз, чтобы избежать наказания, Гоголь так ловко прикинулся сумасшедшим, что обманул и перепугал все гимназическое начальство.

Ни учителя, ни товарищи не считали Гоголя талантливым, многообещавшим мальчиком. Его с ранних лет проявлявшаяся тонкая наблюдательность не обращала на себя их внимания; его способность не только подмечать все характеристические черты наружности и обращения окружающих, но и поразительно верно передавать их забавляла мальчиков, а взрослым представлялась просто шутовством, глупым передразниванием.

Настоящих друзей у Гоголя никогда не было. С самого детства в нем не замечалось простодушной откровенности и сообщительности, всегда был он как-то странно скрытен, всегда в душе его оставались уголки, куда не смел заглядывать ничей глаз. Часто даже о самых обыкновенных вещах он говорил неспроста, облекая их какой-то таинственностью или скрывая свою настоящую мысль под маской шутки, балагурства. Со свойственною детям проницательностью, лицеисты скоро подметили эту черту в характере Гоголя, и долго носил он у них прозвание «таинственный Карло». Из общей массы школьников он выделял трех-четырех (Г. Высоцкий, А. Данилевский, Н. Прокопович), с которыми был дружнее, чем с остальными, которым иногда поверял свои детские затеи, свои юношеские мечты и думы.

Свыкшись с лицейской жизнью, войдя в ее интересы, Гоголь не переставал рваться душой домой, в круг семьи, в свою родную Васильевку. Поездки в деревню на каникулы были во все время школьной жизни истинным праздником для него. Обыкновенно за ним и его двумя товарищами, соседями по имению, присылали поместительный экипаж; мальчиков снабжали разной домашней провизией, и они отправлялись в путь на долгих, с крепостным кучером и лакеем. Дня три тянулось путешествие, во время которого они могли и проказить сколько угодно, а Гоголь, кроме того, изощрял свою наблюдательность на всех встречных предметах. Всякое здание, всякий прохожий — все возбуждало его детское любопытство, заставляло работать его воображение. «Уездный чиновник пройди мимо, — вспоминает он в «Мертвых душах» (т. I, гл. II) — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей; и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем

подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока раздадутся на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь, со своею тогда, увы! вовсе не пошлой наружностью, и по нему старался я угадать: кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечной красавицей меньшой сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу».

Научное преподавание в лицее было поставлено весьма слабо. По количеству преподаваемых предметов программа была широка и разностороння. В нее входили кроме закона Божия, русского языка, математики, физики, истории и географии, еще: нравственная философия и логика, римское право, русское гражданское и уголовное право, государственное хозяйство, начала химии, естественная история, технология, военные науки, языки: латинский, греческий, французский и немецкий, рисование, музыка, пение, танцы, фехтование. Из одного этого перечня предметов, которые ученики должны были усвоить себе в течение семи лет, видно, что об основательном прохождении курса не могло быть и речи. К этому надобно прибавить, что большинство преподавателей не удовлетворяли самым скромным педагогическим требованиям. Классный журнал, в котором записывались проступки учеников, поражает своей безграмотностью; учитель русской словесности Никольский не признавал поэтов после Державина и Хераскова: Пушкина он глубоко презирал, хотя никогда не читал. Один из учеников представил ему под видом собственного сочинения отрывок из «Евгения Онегина», и он не заподозрил обмана. Школьная дисциплина, даже просто порядок очень слабо поддерживались в заведении. Директор лицея И. С. Орлай, вообще человек мягкий, склонный смотреть сквозь пальцы на недостатки своих воспитанников, особенно снисходительно относился к Гоголю, с родителями которого был соседом по имению и познакомился в доме Трощинского.

Так, Гоголь часто во время урока выходил из класса и спокойно прогуливался по коридорам. Завидя издали директора, который очень не любил подобные проступки, он не прятался, как другие воспитанники, а употреблял иного рода уловку. Он прямо подходит к И. С. Орлаю и говорит ему: «Ваше превосходительство! я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению все идет очень хорошо». — «Душевно благодарю, — отвечал

обыкновенно директор, — будете писать матушке, не забудьте поклониться ей от меня и поблагодарить ее».

Гоголь мог беспрепятственно лениться и действительно ленился, не обращая внимания на такие мелкие неприятности, как плохая отметка в журнале, наказание без обеда или без чая, стояние в углу за дурно отвеченный урок. Способности у него были хорошие; наскоро проглядев предыдущую лекцию, он почти всегда мог довольно удовлетворительно передать ее, а засев за книги в последний месяц перед экзаменом, успевал приготовиться настолько, что беспрепятственно переходил в следующий класс. Из всех предметов преподавания одним только рисованием Гоголь занимался усердно. Он охотно слушал теоретические рассуждения об искусстве своего учителя Павлова, человека, преданного делу, и сам много рисовал и карандашом, и красками.

Вообще же, занятие науками или тем, что читалось в классе под именем науки, привлекало очень немногих лицеистов. Некоторые из них проводили время в шалостях, даже кутежах, производивших в городе скандалы; другие придумали себе более благородное развлечение — устройство домашних спектаклей. Инициатором этих спектаклей был, по всей вероятности, Гоголь, который, возвратясь после каникул в училище, с увлечением рассказывал о домашнем театре Трощинского и привез пьесы на малороссийском языке. В первых представлениях участвовали немногие воспитанники; они играли в классе без подходящих постановок и декораций, без занавеса, взамен которого просто расставляли классные доски. Но мало-помалу страсть к театру распространилась среди лицеистов. Они сложились, устроили себе костюмы и кулисы. В январе 1824 года Гоголь пишет отцу:

«…Прошу вас покорнейше прислать мне комедии, как то: «Бедность и благородство души», «Ненависть к людям и раскаяние», «Богатонов, или Провинциал в столице», и ежели каких можно прислать других, за что я вам очень буду благодарен и возвращу в целости. Также, ежели можете, то пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена «Эдип в Афинах», трагедия Озерова. Я думаю, дражайший папенька, вы не откажете мне в удовольствии сем и прислать нужные пособия, так если можно прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть один, получше ежели бы побольше; также хоть немного денег. Сделайте только милость, не откажите мне в этой просьбе. Когда же я сыграю свою роль, о том я вас извещу».

Начальство гимназии покровительствовало этой затее воспитанников, находя, что она отвлекает их от вредных шалостей и служит развитию их эстетического вкуса. И. С. Орлай вздумал воспользоваться ею, чтобы

побудить лицеистов прилежнее заниматься иностранными языками, и требовал, чтобы они время от времени ставили у себя в театре французские пьесы. Они согласились, но предпочитали представления на русском языке. Мало-помалу театр в лицее так усовершенствовался, что на него стали приглашать и городскую публику.

В феврале 1827 года Гоголь пишет матери: «Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю всякому ее провести, как мы: всю неделю веселились без устали. Четыре дня сряду был у нас театр, и к чести нашей признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все прекрасно. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все приезжие, и все с отличным вкусом».

Лучшими актерами в этом лицейском театре считались Гоголь и Кукольник, будущий автор пьесы «Рука Всевышнего отечество спасла». Гоголь возбуждал общий восторг в комических ролях, Кукольник — в трагических. Женские роли исполнялись также лицеистами. Роль Простаковой из «Недоросля» была одной из лучших в репертуаре Гоголя; приятель его Данилевский, хорошенький, грациозный мальчик, изображал Моину, Антигону и вообще всяких нежных красавиц.

Кроме театра, Гоголь стал рано увлекаться и чтением. Он доставал книги от своего отца, от учителей, из библиотеки Трощинского, тратил на них значительную часть своих карманных денег и в складчину с несколькими товарищами выписывал сочинения Жуковского и Пушкина, «Северные цветы» Дельвига и другие журналы и альманахи. «Евгений Онегин», выходивший тогда по частям и считавшийся до некоторой степени запретным плодом, приводил в восторг юных лицеистов. Гоголь выбран был хранителем книг, выписываемых в складчину. Он выдавал их для чтения, строго наблюдая очередь; получивший книгу должен был с нею усесться чинно на определенное место и не вставать с него, пока не возвратит. Мало того, так как руки читателей редко отличались чистотой, то библиотекарь, прежде чем выдать книгу, оборачивал каждому бумажкой большие и указательные пальцы.

Увлекаясь чтением, лицеисты и сами пробовали писать. Первые литературные опыты Гоголя были написаны в стихотворной форме.

В одном из младших классов гимназии он читал своему товарищу Прокоповичу балладу «Две рыбки», в которой изобразил себя и своего рано умершего брата. Позднее он написал пятистопными ямбами целую трагедию: «Разбойники». Но главное содержание его стихотворений было сатирическое: он осмеивал в них не только товарищей и учителей, но и других обывателей города. Один из школьных приятелей Гоголя имел в руках довольно объемистую сатиру его на жителей Нежина:

«Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан». В ней изображались типические лица разных сословий при торжественных случаях, и разделялась она на следующие главы: 1) Освящение церкви на Греческом кладбище. 2) Выбор в городской магистрат. 3) Всеедная ярмарка. 4) Обед у Предводителя дворянства. 5) Роспуск и съезд студентов.

Гоголь не придавал никакого значения всем этим шуточным стихотворениям, считал их простой забавой; он и все его товарищи находили, что настоящие сочинения должны касаться предметов серьезных и быть написаны торжественным, высоким слогом. Пример «Вестника Европы» Карамзина, книжки которого Гоголь получал от отца, соблазнил лицеистов, и они решили издавать свой собственный журнал. Гоголь был выбран редактором этого журнала, носившего заглавие «Звезда». Мальчикам хотелось придать своему изданию вид печатных книг, и Гоголь просиживал целые ночи, разрисовывая заглавные листы. Сотрудники держали статьи свои в величайшей тайне от прочих товарищей, и они знакомились с ними только 1-го числа, когда вся книжка была готова, «выходила в свет». Гоголь, и тогда уже отличавшийся умением очень хорошо читать, часто громко прочитывал всему классу свои и чужие произведения. Он поместил в «Звезде» несколько своих стихотворений и большую повесть: «Братья Твердиславичи», подражание повестям Марлинского. К сожалению, ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не уцелело, и о самой «Звезде», издававшейся недолго, сохранилось у бывших лицеистов очень смутное воспоминание. Одно только помнят они, что все статьи их журнала были написаны самым напыщенным слогом и преисполнены риторики; только такой род писания считали они делом серьезным, настоящей литературой.

Подобный взгляд ясно виден и в переписке Гоголя за время его ученичества. В письмах к товарищам, даже иногда к дяде, он шутит, балагурит, вставляет крепкие словечки и простонародные выражения. Ничего подобного не видим мы в его письмах к матери, на которые он, очевидно, смотрел как на дело серьезное. Все они «сочинены» в благородно-возвышенном тоне, все переполнены напыщенными фразами. Даже при известии о смерти отца, сильно поразившей его, он не может выразить свои чувства просто, без риторических прикрас и преувеличений! «Не беспокойтесь, дражайшая маменька, — пишет 16-летний мальчик, — я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием, однако ж не дал никому заметить, что я был опечален; оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния; хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего, и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с

чувством благоговения ко Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! в тебе только я нахожу источник утешения и утоления моей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь покоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что бы меня привязывало к жизни? Разве я не имею еще чувствительнейшей, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца, и друга, и всего? Что есть милее? Что есть драгоценнее?»

Мысль о том, что делать, как устроить свою жизнь по выходе из лицея, рано стала занимать Гоголя. Литературным попыткам своим он не придавал никакого значения и никогда не мечтал быть писателем. Ему казалось, что только состоя на службе государственной, человек может приносить пользу ближним и отечеству. Вот что он писал в октябре 1827 года дяде своему по матери, П. П. Косяровскому:

«Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства, я кипел желанием принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив имени своего ни одним прекрасным делом — быть в мире и не означить его существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции, я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага».

И в этом письме, как во всех «серьезных» письмах Гоголя того времени, есть много преувеличений и в то же время много детского незнания жизни, но оно ясно показывает, какие мечты, какие стремления наполняли душу юноши. Поверенным этих стремлений был товарищ Гоголя по лицею, ученик старшего класса Г. Высоцкий. Из всех лицеистов Гоголь был, кажется, всего дружнее с ним. «Нас сроднила глупость людская», — говорит Гоголь в одном из своих писем. Действительно, Высоцкий отличался, подобно своему младшему товарищу, способностью подмечать смешные или пошлые стороны в характерах окружающих людей и зло подсмеиваться над ними. В лазарете, где он часто сидел вследствие болезни глаз, вокруг постели его собирался целый клуб, в котором сочинялись разные забавные анекдоты, передавались с комической стороны лицейские и городские происшествия. Вероятно, отчасти под его влиянием Гоголь стал вполне

отрицательно относиться не только ко всему гимназическому начальству, начиная с директора, которого раньше очень хвалил, но и к другим лицам, внушавшим ему в детстве благоговейное почтение, как, например, к Трощинскому. С Высоцким же вместе мечтали они тотчас по окончании курса ехать в Петербург, поступить на государственную службу, сделаться полезными членами общества, а для себя приобрести славу и общее уважение. Высоцкий кончил курс двумя годами раньше Гоголя и действительно уехал в Петербург в 1826 году.

После его отъезда Гоголь стал еще более прежнего стремиться покинуть надоевший ему Нежин, со всеми населяющими его «существователями», которые «задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека». Петербург представлялся ему каким-то волшебным краем, с одной стороны открывающим поле для широкой всесторонней деятельности, с другой представляющим возможность наслаждаться всеми дарами искусства, всеми благами умственной жизни.

«Ты уже на месте, — пишет он товарищу в начале 1827 года, — уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я?.. зачем нам так хочется скоро видеть наше счастье? зачем нам дано нетерпение? мысль о нем и днем, и ночью мучит, тревожит мое сердце; душа моя хочет вырваться из тесной своей обители, и я весь нетерпение. Ты живешь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслаждения, а мне еще не ближе полутора года видеть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемым веком»...

Убедясь на опыте, что петербургская действительность мало соответствовала их юношеским мечтам, Высоцкий старался разочаровать товарища и представить ему те трудности и неприятности, какие встретят его в столице, но на Гоголя эти предостережения производили мало впечатления.

«Ты ужаснул меня чудовищами разных препятствий, — пишет он в 1827 году, — но они бессильны, или — странное свойство человека! чем более трудностей, чем более преград, тем более он летит туда. Вместо того, чтобы остановить меня, они еще более разожгли во мне желание».

Очевидно, неопытный юноша весьма смутно представлял себе «чудовища» мелких неприятностей, дрязг, уколов самолюбия, неудач, сопровождающих первые шаги в практической жизни. Прося мать выслать ему денег на покупку необходимых для занятий книг, он самоуверенно заявляет, что все траты на его образование вернутся ей «утроенными с большими процентами», что ему придется просить у нее некоторого вспоможения разве в первые два-три года петербургской

жизни, а там он и сам прочно устроится и будет иметь возможность перевезти ее к себе, чтобы она была его «ангелом-хранителем».

Рассчитывая на успех в Петербурге, он упрашивает и мать и дядю устроить так, чтобы его часть имения перешла к матери и она была бы самостоятельно обеспечена в материальном отношении.

От этих мечтаний о счастливой петербургской жизни Гоголю приходилось отрываться и засаживаться за учебники. Выпускной экзамен приближался, надобно было отдать отчет в тех знаниях, какие были приобретены за 6-летнее пребывание в лицее, а юноша с ужасом видел, как ничтожны эти знания: по математике он был очень слаб; из иностранных языков мог с грехом пополам понимать только легкие французские книги, по латыни в три года выучился переводить только первый параграф хрестоматии Кошанского; из немецкого пробовал с помощью словаря читать Шиллера, но этот труд оказался ему не под силу; даже по-русски он писал далеко не правильно и в орфографическом, и в стилистическом отношении. — «Я теперь совершенный затворник в своих занятиях», — сообщает он матери в конце 1827 года. — «Целый день с утра до вечера ни одна праздная минута не прерывает моих глубоких занятий. О потерянном времени жалеть нечего; нужно стараться вознаградить его; и в короткие эти полгода я хочу произвести и произведу вдвое больше, нежели во все время моего здесь пребывания»...

Трудно себе представить, чтобы в какие-нибудь шесть месяцев Гоголю удалось в значительной степени пополнить пробелы своего образования. Во всяком случае в июне 1828 года он выдержал выпускной экзамен и мог осуществить свою мечту — ехать в Петербург. Какие-то семейные дела задержали его до конца года в деревне, и только в декабре он вместе со своим товарищем и соседом по имению А. Данилевским уселся в кибитку и двинулся в дальний путь.

ГЛАВА II. ПРИЕЗД ГОГОЛЯ В ПЕТЕРБУРГ И НАЧАЛО ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЙ ИЗВЕСТНОСТИ

Разочарование и неудачи. — Экспромтом в Любек. — Поступление на службу и отставка. — Первые успехи на литературном поприще. — «Вечера на хуторе». — Знакомство с Жуковским, Пушкиным и Карамзиным. — В кругу нежинских товарищей. — «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Женитьба», «Ревизор». — Гоголь в роли неудачного адъюнкта по кафедре истории. — Тяготение к литературе. — Белинский предсказывает Гоголю славную будущность. — «Ревизор» ставится на сцену по личному желанию императора Николая I

Сильно волновались молодые люди, подъезжая к столице. Они, как дети, беспрестанно высовывались из экипажа посмотреть — не видны ли огни Петербурга. Когда, наконец, замелькали вдали эти огни, их любопытство и нетерпение достигли высшей степени. Гоголь даже отморозил себе нос и схватил насморк, беспрестанно выскакивая из

экипажа, чтобы лучше насладиться вожделенным зрелищем. Остановились они вместе, в меблированных комнатах, и сразу должны были познакомиться с разными практическими хлопотами и мелкими неприятностями, встречающими неопытных провинциалов при первом появлении их в столице. Эти дрязги и мелочи обыденной жизни удручающим образом подействовали на Гоголя. В его мечтах Петербург был волшебной страной, где люди наслаждаются всеми материальными и духовными благами, где они делают великие дела, ведут великую борьбу со злом — и вдруг, вместо всего этого грязная, неуютная меблированная комната, заботы о том, как бы подешевле пообедать, тревога при виде, как быстро опустошается кошелек, казавшийся в Нежине неистощимым! Дело пошло еще хуже, когда он начал хлопотать об осуществлении своей заветной мечты — о поступлении на государственную службу. Он привез с собой несколько рекомендательных писем к разным влиятельным лицам и, конечно, был уверен, что они немедленно откроют ему пути к полезной и славной деятельности; но, увы — тут снова ждало его горькое разочарование. «Покровители» или сухо принимали молодого, неловкого провинциала и ограничивались одними обещаниями, или предлагали ему самые скромные места на низших ступенях бюрократической иерархии — места, которые нимало не соответствовали его горделивым замыслам. Он попробовал было вступить на литературное поприще, написал стихотворение «Италия» и послал его под чужим именем в редакцию «Сына отечества». Стихотворение это, весьма посредственное и по содержанию, и по мысли, написанное в романтически-напыщенном тоне, было, однако, напечатано. Этот успех приободрил молодого автора, и он решил издать свою поэму «Ганс Кюхельгартен» (подражание «Луизе» Фосса), задуманную и по всей вероятности даже написанную им еще в гимназии. Втайне от самых близких друзей своих, скрываясь под псевдонимом В. Алова, напечатал он свое первое большое литературное произведение (71 страница в 12 долю листа), роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию и с замиранием сердца ждал приговора о нем публики. Увы! Знакомые или совсем ничего не говорили о «Гансе», или отзывались о нем равнодушно, а в «Московском телеграфе» появилась коротенькая, но едкая заметка Полевого, что идиллию г. Алова всего лучше было бы навсегда оставить под спудом. Этот первый неблагосклонный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души.

Он бросился по книжным лавкам, отобрал у книготорговцев все экземпляры своей идиллии и тайно сжег их.

Еще одна попытка добиться славы, сделанная Гоголем в это же время, привела к таким же печальным результатам. Вспомнив свои успехи на сцене Нежинского театра, он вздумал поступить в актеры. Тогдашний директор театра, князь Гагарин, поручил чиновнику своему

Храповницкому испытать его. Храповницкий, поклонник напыщенной декламации, нашел, что он читает слишком просто, маловыразительно и может быть принят разве на «выходные роли».

Эта новая неудача окончательно расстроила Гоголя. Перемена климата и материальные лишения, какие ему приходилось испытывать после правильной жизни в Малороссии, повлияли на его от природы слабое здоровье, при этом все неприятности и разочарования чувствовались еще сильнее; кроме того, в одном письме к матери он упоминает, что безнадежно и страстно влюбился в какую-то красавицу, недосягаемую для него по своему общественному положению. Вследствие всех этих причин Петербург опротивел ему, ему захотелось скрыться, убежать, но куда? Вернуться домой, в Малороссию, ничего не добившись, ничего не сделав — это было немыслимо для самолюбивого юноши. Еще в Нежине он мечтал о заграничной поездке, и вот, воспользовавшись тем, что небольшая сумма денег матери попала ему в руки, он, недолго думая, сел на корабль и отправился в Любек.

Судя по его письмам этого времени, он не связывал с этой поездкой никаких планов, не имел никакой определенной цели, разве полечиться немного морскими купаньями; он просто в юношеском нетерпении бежал от неприятностей петербургской жизни. Вскоре, однако, письма матери и собственное благоразумие заставили его одуматься, и после двухмесячного отсутствия он вернулся в Петербург, стыдясь своей мальчишеской выходки и в то же время решившись мужественно продолжать борьбу за существование.

В начале следующего 1830 года счастье, наконец, улыбнулось ему. В «Отечественных записках» Свиньина появилась его повесть: «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», а вскоре после того он получил скромное место помощника столоначальника в департаменте уделов. Давнишнее желание его приносить пользу обществу, состоя на государственной службе, исполнилось, но какая разница между мечтой и действительностью! Вместо того, чтобы благодетельствовать целому государству, всюду распространять правду и добро, искоренять ложь и злоупотребления, скромному помощнику столоначальника приходилось переписывать да подшивать скучные бумаги о разных мелких, вовсе не интересовавших его делах. Понятно, служба очень скоро надоела ему, он стал небрежно относиться к ней, часто не являлся в должность. Не прошло и года, как ему предложено было выйти в отставку, на что он с радостью согласился: в это время литературные работы поглощали все его мысли. В течение 1830 и 31 годов в тогдашних повременных изданиях появилось несколько его статей, почти все еще без подписи автора: «Учитель», «Успех посольства», отрывок из романа «Гетман»,

«Несколько мыслей о преподавании географии», «Женщина». Среди холода и неуютности петербургской жизни мысли его невольно неслись в родную Малороссию; кружок товарищей-нежинцев, с которыми он с самого приезда сохранял дружескую связь, разделял и поддерживал его симпатии. Каждую неделю сходились они вместе, говорили о своей дорогой Украине, пели малороссийские песни, угощали друг друга малороссийскими кушаньями, вспоминали свои школьнические проделки и свои веселые поездки домой на каникулы.

Поющие двери, глиняные полы, низенькие комнаты, освещенные огарком в старинном подсвечнике, покрытые зеленой плесенью крыши, подоблачные дубы, девственные чащи черемух и черешен, яхонтовые моря слив, упоительно-роскошные летние дни, мечтательные вечера, ясные зимние ночи — все эти с детства знакомые родные образы снова воскресли в воображении Гоголя и просились вылиться в поэтических произведениях. К маю 31 года у него были готовы повести, составившие первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

В начале 31 года Гоголь познакомился с Жуковским, который отнесся к начинающему писателю со своею обычной добротой и горячо рекомендовал его Плетневу. Плетнев с большим сочувствием взглянул на его литературные работы, посоветовал ему издать первый сборник его повестей под псевдонимом и сам выдумал для него заглавие, рассчитанное на то, чтобы возбудить интерес в публике. Чтобы обеспечить Гоголя в материальном отношении, Плетнев, состоявший в то время инспектором Патриотического института, дал ему место старшего учителя истории в этом институте и предоставил ему уроки в нескольких аристократических семействах. В первый раз Гоголь был введен в круг литераторов в 1832 году на празднике, который давал известный книгопродавец Смирдин по случаю перенесения своего магазина на новую квартиру. Гости подарили хозяину разные статьи, составившие альманах «Новоселье», в котором помещена и Гоголева «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

С Пушкиным Гоголь познакомился летом 1831 года. Благодаря ему и Жуковскому, он был введен в гостиную Карамзиных, составлявшую как бы звено между литературным и придворно-аристократическим кругом, и познакомился с князем Вяземским, с семейством графа Виельгорского, с фрейлинами, красою которых считалась Александра Осиповна Россети, впоследствии Смирнова. Все эти знакомства не могли не оказать на Гоголя влияния, и влияния очень сильного. Молодой человек, обладавший скудным житейским опытом и еще более скудными теоретическими знаниями, должен был подчиниться обаянию более развитых и образованных людей. Жуковский, Пушкин — были имена, которые он с детства привык произносить с благоговением; когда он

увидел, что под этими именами скрываются не только великие писатели, но истинно добрые люди, принявшие его с самым искренним дружелюбием, он всем сердцем привязался к ним, он охотно воспринял их идеи, и идеи эти легли в основу его собственного миросозерцания. По отношению к политике убеждения того литературно-аристократического круга, в котором пришлось вращаться Гоголю, могут быть охарактеризованы словом: либерально-консервативные. Всякие коренные реформы русского быта и монархического строя России отвергались им безусловно, как нелепые и вредоносные, а между тем стеснения, налагаемые этим строем на отдельные личности, возмущали его; ему хотелось более простора для развития индивидуальных способностей и деятельности, более свободы для отдельных сословий и учреждений; всякие злоупотребления бюрократического произвола встречали его осуждение, но он отвергал как энергический протест против этих злоупотреблений, так и всякие доискивания коренной причины их. Впрочем, надобно сказать, что вопросы политические и общественные никогда не выдвигались вперед в том блестящем обществе, которое собиралось в гостиной Карамзиных и группировалось около двух великих поэтов. Жуковский и как поэт, и как человек чуждался вопросов, волновавших жизнь, приводивших к сомнению или отрицанию. Пушкин с пренебрежением говорил о «жалких скептических умствованиях прошлого века» и о «вредных мечтаниях», существующих в русском обществе, и сам редко предавался подобным мечтаниям.

«Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв»...

рождены на свет избранники судьбы, одаренные гением творчества. Жрецы чистого искусства, они должны стоять выше мелких страстей черни. С этой точки зрения служения искусству рассматривались кружком и все произведения, выходившие из-под пера тогдашних писателей. Свежая поэзия, веселый юмор первых произведений Гоголя обратили на себя внимание корифеев тогдашней литературы, не подозревавших, какое общественное значение будут иметь дальнейшие произведения остроумного «хохла», какое толкование придаст им новое, уже нарождавшееся литературное поколение.

Знакомства в аристократическом мире не заставили Гоголя прервать связи с его однокашниками по Нежинскому лицею. В маленькой квартире его собиралось довольно разнообразное общество: бывшие лицеисты, из числа которых Кукольник уже пользовался громкой известностью, начинающие писатели, молодые художники, знаменитый актер Щепкин, какой-нибудь никому не известный скромный чиновник. Тут рассказывались всевозможные анекдоты из жизни литературного и чиновничьего мира, сочинялись юмористические куплеты, читались

вновь выходившие стихотворения. Гоголь читал необыкновенно хорошо и выразительно. Он благоговел перед созданиями Пушкина и делился с приятелями каждой новинкой, выходившей из-под его пера. Стихотворения Языкова приобретали в его чтении особенную выпуклость и страстность. Оживленный, остроумный собеседник, он был душой своего кружка. Всякая пошлость, самодовольство, лень, всякая неправда как в жизни, так в особенности в произведениях искусства, встречали в нем меткого обличителя. И сколько тонкой наблюдательности выказывал он, отмечая малейшие черты лукавства, мелкого искательства и себялюбивой напыщенности! Среди самых жарких споров, одушевленных разговоров его не покидала способность следить за всеми окружающими, подмечать скрытые душевные движения и тайные побуждения каждого. Часто случайно услышанный анекдот, по-видимому, вовсе не интересный рассказ какого-нибудь посетителя зароняли в душу его образы, которые разрастались в целые поэтические произведения. Так, анекдот о каком-то канцеляристе, страстном охотнике, скопившем с большим трудом денег на покупку ружья и потерявшем это ружье, зародил в нем идею «Шинели»; рассказ какого-то старичка о привычках сумасшедших породил «Записки Сумасшедшего». Сами «Мертвые души» обязаны своим происхождением случайному рассказу. Один раз Пушкин среди разговора передал Гоголю известие о том, что какой-то авантюрист занимался в Псковской губернии покупкой у помещиков мертвых душ и за свои проделки арестован. «Знаете ли, — прибавил Пушкин, — это отличный материал для романа, я как-нибудь займусь им». Когда несколько времени спустя Гоголь показал ему первые главы своих «Мертвых душ», он сначала немного подосадовал и говорил своим домашним: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». Но затем, увлекшись прелестью рассказа, вполне примирился с похитителем своей идеи и поощрял Гоголя продолжать поэму.

* * *

От 1831 до 1836 года Гоголь почти сплошь прожил в Петербурге. Только два раза удалось ему провести по несколько недель в Малороссии да побывать в Москве и в Киеве. Это время было периодом самой усиленной литературной деятельности его. Не считая разных журнальных статей и неоконченных повестей, он в эти годы выпустил 2 части «Вечеров на хуторе» и подарил нас такими произведениями, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Портрет», «Женитьба», «Ревизор», первые главы «Мертвых душ».

Сам Гоголь относился очень скромно к своим первым литературным произведениям. Всеобщие похвалы льстили его самолюбию, были ему приятны, но он считал их преувеличенными и, по-видимому, не сознавал нравственного значения смеха, возбуждаемого его рассказами.

Он по-прежнему мечтал о великом деле, о подвиге на благо многим, но все еще искал этого дела вне литературы. В 1834 году, при открытии Киевского университета, он сильно хлопотал о кафедре истории при нем; когда же хлопоты эти не удались, он, при содействии своих покровителей, получил должность адъюнкта по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете. Нельзя не удивляться, что человек с такой слабой теоретической подготовкой, с таким скудным запасом научных знаний решился взяться за чтение лекций. Но, может быть, именно потому, что он никогда не занимался наукой, она и казалась ему делом нетрудным.

«Ради нашей Украины, ради отцовских могил, не сиди над книгами!» — пишет он в 1834 году М. Максимовичу, получившему кафедру русской словесности в Киеве. — «Будь таков, как ты есть, говори свое. Лучше всего ты делай эстетические с ними (со студентами) разборы. Это для них полезнее всего; скорее разовьет их ум и тебе будет приятно». Впрочем, сам Гоголь, по-видимому, имел серьезное намерение или, по крайней мере, мечтал посвятить себя науке. В своих письмах от того времени он не раз говорит, что работает над историей Малороссии и кроме того собирается составить «Историю средних веков томов в 8 или 9, если не больше». Блестящим результатом его занятий украинскими древностями явился «Тарас Бульба», мечты же об истории средних веков так и остались мечтами. Профессорский персонал Петербургского университета очень сдержанно относился к своему новому собрату: многих не без основания возмущало назначение на кафедру человека, известного только несколькими беллетристическими произведениями и вполне чуждого в мире науки. Зато студенты с нетерпеливым любопытством ожидали нового лектора. Первая лекция его[1] привела в восторг. Живыми картинами осветил он им мрак средневековой жизни. Затаив дыхание, следили они за блестящим полетом его мысли. По окончании лекции, продолжавшейся три четверти часа, он сказал им: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий раз мы примемся за самые факты и должны будем для этого вооружиться анатомическим ножом».

Но этих-то фактов и не было в распоряжении молодого ученого, а кропотливое собирание и «анатомирование» их было не под силу уму его, слишком склонному к синтезу, к быстрому обобщению. Вторую лекцию он начал громкой фразой: «Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом». Затем вяло и безжизненно поговорил о переселении народов, указал несколько курсов по истории и через 20 минут сошел с кафедры. Последующие лекции были в том же роде. Студенты скучали, зевали и сомневались, неужели этот бездарный г-н Гоголь-Яновский — тот самый Рудый Панько, который заставлял их смеяться таким здоровым смехом. Еще только один раз удалось ему

оживить их. На одну из его лекций приехали Жуковский и Пушкин. Вероятно, Гоголь знал заранее об этом посещении и приготовился к нему. Он прочел лекцию, подобную своей вступительной, такую же увлекательную, живую, картинную: «Взгляд на историю аравитян». Кроме этих двух лекций, все остальные были до крайности слабы. Скука и недовольство, ясно выражавшиеся на лицах молодых слушателей, не могли не действовать удручающе на лектора. Он понял, что взялся не за свое дело, и стал тяготиться им. Когда, в конце 1835 года, ему предложили выдержать испытание на степень доктора философии, если он желает занять профессорскую должность, он без сожаления отказался от кафедры, которую не мог занимать с честью.

Напрасно старался Гоголь убедить себя и других, что может посвятить себя научным исследованиям. Инстинкт художника подталкивал его воплощать в живые образы явления окружающей жизни и мешал ему предаваться серьезному изучению сухих материалов. Задумав составить большое сочинение по географии: «Земля и люди», он вскоре писал Погодину: «Не знаю, отчего на меня напала тоска… корректурный листок выпал из рук моих и я остановил печатание. Как-то не так теперь работается, не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь свершу из истории, уже вижу собственные недостатки. То жалею, что не взял шире, огромней по объему, то вдруг зиждется новая система и рушится старая». Затем он сообщает, что помешался на комедии, что она не выходит у него из головы, и сюжет и заглавие уже готовы. «Примусь за историю — передо мной движется сцена, шумят аплодисменты; рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и история к черту!» Вместо того, чтобы подготовляться к лекциям, он издавал свой «Миргород», создавал «Ревизора», вынашивал в голове первый том «Мертвых душ», принимал деятельное участие в литературных делах того времени. Злобой дня тогдашнего литературного мира было ненормальное состояние журналистики. Ею окончательно овладел известный триумвират: Греч, Сенковский и Булгарин. Благодаря большим денежным средствам издателя-книгопродавца Смирдина «Библиотека для чтения» сделалась самым толстым и самым распространенным из ежемесячных журналов. Сенковский царил в ней безраздельно. Под разными псевдонимами он наполнял ее своими собственными сочинениями; в отделе критики, по своему усмотрению, одних писателей производил в гении, других топтал в грязь; произведения, печатавшиеся в его журнале, самым бесцеремонным образом сокращал, удлинял, переделывал на свой лад. Официальным редактором «Библиотеки для чтения» значился Греч, а так как он, кроме того, издавал вместе с Булгариным «Северную пчелу» и «Сын отечества», то, понятно, все, что говорилось в одном журнале, поддерживалось в двух других. Притом надобно заметить, что для борьбы с противниками триумвират не брезговал никакими средствами, даже доносом, так что

чисто литературная полемика нередко оканчивалась при содействии администрации. Несколько периодических изданий в Москве и Петербурге («Молва», «Телеграф», «Телескоп», «Литературные прибавления к Инвалиду») пытались противодействовать тлетворному влиянию «Библиотеки для чтения». Но отчасти недостаток денежных средств, отчасти отсутствие энергии и умелости вести журнальное дело, а главным образом тяжелые цензурные условия мешали успеху борьбы. С 1835 года в Москве с той же целью противодействия петербургскому триумвирату явился новый журнал «Московский наблюдатель». Гоголь горячо приветствовал появление нового члена журнальной семьи. Он был знаком лично и состоял в переписке с издателем его Шевыревым и с Погодиным; кроме того и Пушкин благосклонно отнесся к московскому изданию. «Телеграф» и «Телескоп» возмущали его резкостью своего тона и несправедливыми, по его мнению, нападками на некоторые литературные имена (Дельвига, Вяземского, Катенина). «Московский наблюдатель» обещал более почтительности к авторитетам, более солидности в обсуждении разных вопросов, менее молодого задора, неприятно действовавшего на аристократов литературного мира. Гоголь самым энергичным образом пропагандировал его среди своих петербургских знакомых. Каждый член его кружка непременно должен был подписаться на новый журнал, «иметь своего «Наблюдателя»»; всех своих знакомых писателей он упрашивал посылать туда статьи. Вскоре пришлось ему, однако, сильно разочароваться в московском органе. От его книжек веяло скукой, они были бледны, безжизненны, лишены руководящей идеи. Такой противник не мог быть страшен для петербургских воротил журнального дела. А между тем, Гоголю пришлось испытать на себе неприятные стороны их владычества. Когда вышли его «Арабески» и «Миргород», вся булгаринская клика с ожесточением набросилась на него, а «Московский наблюдатель» очень сдержанно и уклончиво высказывал ему свое одобрение. Правда, в защиту его из Москвы раздался голос, но он еще не предчувствовал всей мощи этого голоса. В «Телескопе» появилась статья Белинского: «О русской повести и повестях Гоголя», в которой говорилось, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и прямо заявлялось, что в Гоголе русское общество имеет будущего «великого писателя». Гоголь был и тронут и обрадован этой статьей; но благосклонный отзыв критика еще не авторитетного, помещенный в органе, которому не симпатизировали его петербургские друзья, не вознаграждал его за неприятности, какие приходилось ему терпеть с других сторон. Кроме едких критик литературных врагов, он подвергался еще более тяжелым нападкам на свою личность. Вступление его в университет благодаря протекции, а не ученым заслугам, было встречено неодобрительно в кружке его близких знакомых, и неодобрение это возрастало по мере того, как выяснялась полная неспособность его к профессорской

деятельности. Он отказался от кафедры в конце 1835 года, но в душе его остался осадок горечи от осуждения, справедливость которого он не мог не сознавать. В том же 1835 году Гоголь начал хлопотать о постановке на сцене петербургского театра своего «Ревизора». Это было первое его произведение, которым он сильно дорожил, которому он придавал большое значение. «Это лицо, — говорит он про Хлестакова, — должно быть типом многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но натурально в этом не хочет только признаться». «В «Ревизоре» я решился собрать в кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за один раз посмеяться надо всем». Одним словом, он хотел создать серьезную комедию нравов и больше всего боялся, как бы она, вследствие непонимания или неумелости актеров, не показалась фарсом, карикатурой. Чтобы избежать этого, он усердно следил за постановкой пьесы, читал актерам их роли, присутствовал на репетициях, хлопотал о костюмах, о бутафорских принадлежностях. В вечер первого представления театр был полон избранной публикой. Гоголь сидел бледный, взволнованный, грустный. После первого акта недоумение было написано на всех лицах; по временам раздавался смех, но чем дальше, тем реже слышался этот смех, аплодисментов почти совсем не было, зато заметно было общее напряженное внимание, которое в конце перешло в негодование большинства: «Это — невозможность, это — клевета, это — фарс!» слышалось со всех сторон. В высших чиновничьих кругах называли пьесу либеральной, революционной, находили, что ставить подобные вещи на сцене — значит прямо развращать общество, и «Ревизор» избавился от запрещения только благодаря личному желанию императора Николая Павловича. Петербургская журналистика обрушилась на него всеми своими громами. Булгарин в «Северной пчеле» и Сенковский в «Библиотеке для чтения» обвиняли пьесу в нелепости и неправдоподобности содержания, в карикатурности характеров, в циничности и грязной двусмысленности тона. Гоголь был сильно огорчен и разочарован: его любимое произведение, от которого он ждал себе славы, унижено, заброшено грязью! «Я устал и душою, и телом, — писал он Пушкину после первого представления «Ревизора». — Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий... Бог же с ними со всеми! Мне опротивела моя пьеса!»

В письме к Погодину он подробно описывает свои ощущения: «Я не сержусь на толки, как ты пишешь; не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня; не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты. Но грустно мне это

всеобщее невежество, движущее столицей; грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же оплеванного и опозоренного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же это говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь настолько ума, чтобы понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет — по крайней мере русский свет — называет образованными. Выведены на сцену плуты — и все в ожесточении: «зачем выводить на сцену плутов?» Пусть сердятся плуты, но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были, хотя слегка, ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пьесы, меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны. Но жизнь петербургская ясна перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее — и как тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием — то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут — считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит в переводе опозорить все сословие и вооружить против него других или его подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами — утешит ли это его?»

Понимание небольшого круга передовых людей не могло утешить Гоголя, потому что сам он не ясно сознавал значение и нравственную силу своего произведения. Для него, как и для его друзей, которым он читал «Ревизора» в квартире Жуковского, это была живая, верная картина провинциального общества, едкая сатира над всеми признанною язвою бюрократического мира — над взяточничеством. Когда он писал ее, когда он так усердно хлопотал о постановке ее на сцену, ему и в голову не приходило, что она может иметь глубокий общественный смысл, что, ярко изображая пошлость и неправду, среди которой жило общество, она заставит это общество задуматься, поискать причин всей этой пошлости и неправды. И вдруг: «Либерал, бунтовщик, клеветник на Россию!» Он был ошеломлен, сбит с толку. Петербургский климат убийственно действовал на его здоровье, нервы его расшатались; больной, усталый умственно после усиленной работы последних лет,

разочарованный в своих попытках найти истинно полезное поприще деятельности, он решил отдохнуть от всего, что волновало его последнее время, подальше от туманов и непогод северной столицы, под более ясным небом, среди совершенно чужих людей, которые отнесутся к нему и без вражды, и без назойливой приязни. «Я хотел бы убежать теперь. Бог знает куда, — писал он Пушкину в мае 1836 года, — и предстоящее мне путешествие — пароход, море и другие далекие небеса — могут одни только освежить меня. Я жажду их как Бог знает чего!»

ГЛАВА III. ПЕРВЫЕ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ

В Германии и Швейцарии. — В Женеве и Париже. — Известие о смерти Пушкина. — В Риме. — Впечатления и встречи. — Смерть Виельгорского — Приезд на короткое время в Москву и Петербург. — Вторичный приезд в Рим. — Жизнь и литературные занятия Гоголя в Риме

В июне 1836 года Гоголь сел на пароход, отправлявшийся в Любек. С ним вместе ехал приятель его, А. Данилевский. Определенной цели не было ни у одного из них: им просто хотелось отдохнуть, освежиться, полюбоваться всем, что есть замечательного в Европе. Поездив вместе по Германии, приятели расстались: Данилевского тянуло в Париж, к тамошним развлечениям, Гоголь сделал один путешествие по Рейну и оттуда направился в Швейцарию. Красоты природы производили на него сильное впечатление. Особенно поражали его своим величавым великолепием снеговые вершины Альп. Под влиянием путешествия мрачное настроение, в каком он выезжал из Петербурга, рассеялось, он укрепился и ободрился духом: «Клянусь, что я сделаю то, чего не сделает обыкновенный человек, — писал он Жуковскому. — Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст».

Осенью, живя в Женеве и Вене, он усердно принялся за продолжение «Мертвых душ», первые главы которых были уже написаны в Петербурге. «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем, это будет первая моя порядочная вещь, которая вынесет мое имя!» — говорил он в письме к Жуковскому.

Зиму Гоголь провел опять вместе с Данилевским в Париже; вдвоем осматривали они все его достопримечательности: картинную галерею Лувра, Jardin des Plantes,[2] Версаль и прочее, посещали кафе, театры, но вообще Гоголь нашел мало привлекательного в этом городе. То, что могло быть нового и интересного для русского в столице конституционной монархии — борьба политических партий, прения в палате, свобода слова и печати — мало занимало его. При всех путешествиях на первом плане стояла для него природа и произведения искусства; людей он наблюдал и изучал как отдельные личности, а не как членов известного общества; все политические страсти и интересы были чужды его по преимуществу созерцательной натуре. За границей

он мало сближался с иностранцами: везде он входил в круг своих, русских, из новых или из старых петербургских знакомых. В Париже он просиживал большую часть вечеров в уютной гостиной Александры Осиповны Смирновой. Смирнова, урожденная Россети, бывшая фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, блистала в светских кругах красотой и умом. Через Плетнева, бывшего ее учителем в Екатерининском институте, и Жуковского она познакомилась со всеми выдающимися писателями того времени, и «все мы были более или менее ее военнопленными», — говорит князь Вяземский. Пушкин и Лермонтов посвящали ей стихотворения, Хомяков, Самарин, Иван Аксаков увлекались ею, Жуковский называл ее «небесным дьяволенком». Гоголь познакомился с ней еще в 1829 году, давая уроки в одном аристократическом семействе. Она обратила внимание на скромного, застенчивого учителя ради его хохлацкого происхождения. Сама она родилась в Малороссии, провела там первое детство и любила все малороссийское. Есть некоторые основания предполагать, что Гоголь не остался равнодушным к чарам остроумной и кокетливой светской красавицы; но он тщательно скрывал эту любовь от всех окружающих, и во всех его многочисленных письмах к Александре Осиповне видна одна только искренняя дружба, которая находила и в ней ответ. В Париже они встретились как добрые старые знакомые, и все разговоры их вертелись главным образом на воспоминаниях о Малороссии. Она пела ему: «Ой, не ходы Грыцю на вечорныци», и вместе вспоминали они малороссийскую природу и малороссийские галушки. Свои парижские наблюдения он передавал ей в виде комических сцен, дышавших тонкой наблюдательностью и неподдельным юмором.

В Париже застало Гоголя известие о смерти Пушкина. Как громом поразила его эта весть! «Ты знаешь, как я люблю свою мать, — говорил он Данилевскому, — но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь. Пушкин в этом мире не существует больше!» «Что месяц, что неделя, то новая утрата, — писал он позднее Плетневу из Рима, — но никакой вести нельзя было получить хуже из России... Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собой. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет предвкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!»

Очень может быть, что именно эта тоска ускорила отъезд Гоголя из Парижа. В марте 1837 года он уже был в Риме. Вечный город произвел

на него обаятельное впечатление. Природа Италии восхищала, очаровывала его. Живя в Петербурге, он постоянно вздыхал о весне, завидовал тем, кто может наслаждаться ею в Малороссии, а тут вдруг его охватила вся прелесть итальянской весны. «Какая весна! Боже, какая весна!» — в восторге восклицает он в одном из своих писем. «Но вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших плющем и дикими цветами. Как хороши теперь синие клочки неба промеж дерев, едва покрывшихся свежею, почти желтою зеленью, и даже темные, как воронье крыло, кипарисы и еще далее голубые, матовые, как бирюза, горы Фраскати, и Албанские, и Тиволи. Что за воздух! Удивительная весна! Гляжу и не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».

Вероятно, в другие минуты жизни Гоголь точно так же страстно желал весь превратиться в глаза, чтобы ничего не потерять из тех чудных картин, которые развертывались перед ним на каждом шагу, постоянно открывая новые и новые прелести. «О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии», — писал он Плетневу. — «Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина, на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства — все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Богу».

Все в Риме нравилось Гоголю, все пленяло его. От наслаждения природой он переходил к произведениям искусства, и тут уже не было конца его восторгам. Памятники древней жизни и создания новейших художников, Колизей и св. Петр равно очаровывали его. Он изучил все картинные галереи города; он по целым часам простаивал в церквах перед картинами и статуями великих мастеров; он посещал мастерские всех художников и скульпторов, живших тогда в Риме. Показывать Рим знакомым, приезжавшим из России, было для него величайшим удовольствием. Он просто гордился Римом как чем-то своим, хотел, чтобы все им восхищались, обижался на тех, кто холодно относился к нему. Римский народ также очень нравился ему своей веселостью, своим юмором и своим остроумием. Научившись хорошо понимать итальянский язык, он часто подолгу сидел у открытого окна своей комнаты, с удовольствием прислушиваясь к перебранке каких-нибудь

мастеровых или к пересудам римских кумушек. Он наблюдал отдельные типы, восхищался ими; но и здесь, как в Париже, у него не было охоты сойтись поближе с обществом или с народом, узнать, чем живет, на что надеется, чего ждет этот народ. Он вел знакомство с несколькими итальянскими художниками, но большую часть времени проводил или один в работе и в уединенных прогулках, или в обществе русских. Из русских художников, живших в то время в Риме, он близко сошелся только с А. И. Ивановым, да разве с гравером Иорданом, и вообще симпатизировал немногим: большинство не нравилось ему своей заносчивостью, недостатком образования и таланта в соединении с громадным самомнением. Русских гостей Гоголю приходилось часто принимать в Риме и «угощать» Римом. Не считая Данилевского, который одновременно с ним странствовал по Европе, у него в первые же годы жизни в Риме побывали: Жуковский, Погодины (муж и жена), Панаев, Анненков, Шевырев и многие другие. В Риме же ему пришлось ухаживать за одним больным, который и умер на его руках. Это был Иосиф Виельгорский, сын гофмейстера графа Михаила Юрьевича Виельгорского, молодой человек, по отзывам всех знавших его, богато одаренный от природы. Гоголь был знаком в Петербурге с ним и его семьей. У него развилась чахотка, доктора послали его в Италию, и мать его просила Гоголя принять в нем участие, позаботиться о нем на чужбине. Гоголь исполнил ее просьбу более чем добросовестно: он окружил больного самой нежной заботливостью, почти не расставался с ним целые дни, проводил ночи без сна у его постели. Смерть юноши сильно огорчила его. «Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются, — писал он Данилевскому. — Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразлучно и решительно братски только — увы! — во время его болезни. Ты не можешь себе представить, до какой степени благородна была эта высокая, младенчески-ясная душа! Это был бы муж, который бы украсил один будущее царствование Александра Николаевича. И прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное у нас на Руси!..»

Под живительными лучами итальянского солнца здоровье Гоголя укреплялось, хотя вполне здоровым он себя никогда не считал. Знакомые подтрунивали над его мнительностью, но он еще в Петербурге говорил совершенно серьезно, что доктора не понимают его болезни, что у него желудок устроен совсем не так, как у всех людей, и это причиняет ему страдания, которых другие не понимают. Живя за границей, он почти каждое лето проводил на каких-нибудь водах, но редко выдерживал полный курс лечения; ему казалось, что он сам лучше всех докторов знает, как и чем лечиться. Всего благотворнее, по его мнению, на него действовали путешествия и жизнь в Риме. Путешествия освежали его, прогоняли всякие мрачные или тревожные мысли. Рим укреплял и бодрил его. Там принялся он за продолжение «Мертвых

душ», кроме того он писал «Шинель» и «Анунциату», повесть, впоследствии переделанную им и составившую статью «Рим»; много работал он также над большой трагедией из быта запорожцев, но остался недоволен ею и после нескольких переделок уничтожил ее.

* * *

Осенью 1839 года Гоголь отправился вместе с Погодиным в Россию, прямо в Москву, где кружок Аксаковых принял его с распростертыми объятиями. С семейством Аксаковых он был знаком раньше, и все оно принадлежало к числу восторженных поклонников его. Вот как описывает С. Т. Аксаков впечатление, произведенное на них приездом Гоголя: «Я жил это лето с семьею на даче в Аксиньине, в 10 верстах от Москвы. 26 сентября вдруг получаю я следующую записку от Щепкина: «Спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один; ожидания наши исполнились, с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает; я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его принял; вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал; такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе». Мы все обрадовались чрезвычайно. Сын мой (Константин), прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, тотчас же поскакал в Москву и повидался с Гоголем, который остановился у Погодина».

Понятно, какое согревающее впечатление должен был произвести на душу Гоголя такой сердечный прием. Он почти каждый день бывал у Аксаковых и являлся перед ними таким, каким видали его все близкие знакомые: веселым, остроумным и задушевным собеседником, чуждым всякой заносчивости, всякой церемонности. В его внешности Аксаковы нашли большую перемену против того, как видали его в 1834 году.

«Следов не было прежнего гладко выбритого и обстриженного, кроме одного хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные, белокурые, густые волосы лежали у него по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то не внешнему. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее».

Гоголь собирался в Петербург, где должен был взять из Патриотического института двух своих сестер. Сергею Тимофеевичу Аксакову нужно было ехать туда же с сыном и дочерью. Они отправились все вместе в одном экипаже, и всю дорогу Гоголь был

неистощимо весел. В Петербурге он остановился у В. А. Жуковского, который в качестве наставника тогдашнего наследника, цесаревича Александра Николаевича, имел большую квартиру в Зимнем дворце, — и тотчас же для него начались неприятные хлопоты. Литературные работы не обеспечивали его в материальном отношении. Деньги, полученные им с Дирекции императорских театров за «Ревизора» (2500 р. ассигн.), дали ему средства уехать из России в 1836 году, но, конечно, не могли обеспечить его существование за границей. В 1837 году Жуковский выхлопотал для него пособие от государя в размере 5 тысяч руб. ассигн., и на эти деньги он жил до приезда в Россию. Но теперь ему предстояли экстренные расходы: надобно было, взяв сестер из института, сделать им полную экипировку, довезти их до Москвы да еще заплатить за некоторые приватные уроки, которые они брали в институте. Мать его не могла ничего уделить дочерям из своих средств. Хотя имение, оставшееся после Василия Афанасьевича Гоголя, было не особенно маленькое (200 душ крестьян, около 1000 десятин земли), но заложенное, и доходами с него Марья Ивановна еле могла существовать. Приезд из Малороссии в Москву за дочерьми и без того представлялся ей довольно разорительным. Гоголь не решился обратиться с просьбой о денежном пособии к своим старым друзьям, Жуковскому и Плетневу, так как они и без того много раз ссужали его деньгами, и он считал себя их неоплатным должником; из других знакомых его одни, несмотря на все желание, не в состоянии были помочь ему, с другими он не был настолько близок, чтобы явиться в роли просителя. Гоголь волновался, хандрил, обвинял Петербург в холодности, равнодушии. С. Т. Аксаков с чуткостью, свойственной его истинно доброму сердцу, угадал, что происходило в душе поэта, и сам, без всякой просьбы с его стороны, предложил ему 2 тысячи рублей. Гоголь очень хорошо знал, что Аксаковы совсем не богаты, что им самим часто приходится нуждаться в деньгах, тем более тронула его эта неожиданная помощь. Успокоившись насчет материальных дел, Гоголь и в Петербурге не оставлял вполне своих литературных занятий и каждый день проводил определенные часы за письменным столом, запершись в своей комнате от всех посетителей. У него в то время была готова большая часть первого тома «Мертвых душ», и первые главы были даже окончательно отделаны. Он читал их в кружке своих приятелей, собравшихся для этой цели в квартире Прокоповича. Все слушали с напряженным вниманием мастерское чтение, только иногда взрывы неудержимого смеха прерывали общую тишину. Гоголь при передаче самых смешных сцен сохранял полную серьезность, но искренняя веселость и неподдельный восторг, возбуждаемый в слушателях, видимо, были ему очень приятны.

В Петербурге он оставался в этот раз недолго и, взяв сестер из института, вернулся вместе с Аксаковыми в Москву. В Москве умственная жизнь шла в то время гораздо живее, чем в Петербурге. Резкого разрыва между славянофилами и западниками еще не произошло, в передовой

интеллигенции господствовало увлечение Гегелем и немецкой философией. У Аксаковых, у Станкевича, у Елагиной — везде, где собирались молодые профессора или литераторы, шли горячие, оживленные споры о разных отвлеченных вопросах и философских системах. Гоголь, ни по своему развитию, ни по складу ума своего, не мог принимать участия в подобных словопрениях. Его московские друзья вовсе и не ожидали этого от него. Он нравился им как человек тонко наблюдающий и нежно-отзывчивый, они поклонялись его таланту, они любили его как художника, который смелою и в то же время тонкою кистью касался язв современного общества. Причины этих язв, средства уврачевать их они искали и находили на основании своих собственных убеждений. Именно потому, что Гоголь не высказывал своих теоретических взглядов, каждая партия считала себя вправе называть его своим и заключать о его мировоззрении на основании тех выводов, которые сама делала из его произведений.

«Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю великость этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих! — восклицал всегда восторженный Константин Аксаков. — Что за художник! как полезно с ним проводить время!»

Станкевич восхищался каждой строчкой, выходившей из-под пера его; при первых словах его чтения он заливался неудержимым хохотом от одного предчувствия того юмора, каким проникнуты его произведения.

«Поклонись от меня Гоголю, — писал с Кавказа Белинский, в то время еще москвич по духу, — и скажи ему, что я так люблю его и как поэта, и как человека; что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадой и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось говорить с ним, но его присутствие давало полноту душе моей».

Отравив одну из сестер своих в деревню с матерью, которая приезжала в Москву, чтобы взять ее и повидаться с сыном, поместив другую к одной знакомой барыне, взявшейся докончить ее образование, Гоголь стал собираться назад в Рим. Друзья старались удержать его, высказывая опасение, что среди роскошной природы и привольной жизни Италии он забудет Россию; но он уверял их, что совершенно наоборот: чтобы настоящим образом любить Россию, ему необходимо удалиться от нее; во всяком случае, он обещал через год вернуться в Москву и привезти первый том «Мертвых душ» совсем готовым. Аксаковы, Погодин и Щепкин проводили его до первой станции Варшавской дороги и там распрощались самым дружеским образом.

Выдержав в Вене курс лечения водами, Гоголь затем вернулся в свой любимый Рим, про который он говорил: «мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то: не свою родину, но

родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет». Теперь уже этот Рим перестал служить для него предметом постоянного восторженного наблюдения и изучения: он бессознательно, как чем-то привычным, наслаждался и его природой, и его художественными красотами, и вполне предался своим литературным трудам. «Я обрадовался моим проснувшимся силам, освеженным после вод и путешествия, — пишет он, — и стал работать изо всех сил, почуя просыпающееся вдохновение, которое давно уже спало во мне». Он дописывал последние главы первого тома «Мертвых душ», кроме того, переделывал некоторые сцены в «Ревизоре», перерабатывал набело «Шинель», занимался переводом итальянской комедии «Ajo nell Imbarazzo» («Дядька в затруднительном положении»), о постановке которой на сцене московского театра давал подобные указания Щепкину. Но — увы — слабый организм поэта не вынес нервного напряжения, сопровождающего усиленную творческую деятельность. Он схватил сильнейшую болотную лихорадку (malaria). Острая, мучительная болезнь едва не свела его в могилу и надолго оставила следы как на физическом, так и на психическом состоянии его. Припадки ее сопровождались нервными страданиями, слабостью, упадком духа. Н. П. Боткин, бывший в то время в Риме и с братской любовью ухаживавший за Гоголем, рассказывает, что он говорил ему о каких-то видениях, посещавших его во время болезни. «Страх смерти», мучивший отца Гоголя в последние дни его жизни, передался отчасти и сыну. Гоголь с ранних лет отличался мнительностью, всегда придавал большое значение всякому своему нездоровью; болезнь мучительная, не сразу поддавшаяся врачебной помощи, показалась ему преддверием смерти или, по крайней мере, концом деятельной, полной жизни. Серьезные, торжественные мысли, на которые наводит нас близость могилы, охватили его и не покидали более до конца жизни. Оправившись от физических страданий, он опять принялся за работу, но теперь она приобрела для него иное, более важное значение. Отчасти под влиянием размышлений, навеянных болезнью, отчасти благодаря статьям Белинского и рассуждениям его московских почитателей, в нем выработался более серьезный взгляд на свои обязанности как писателя и на свои произведения. Он, чуть не с детства искавший поприща, на котором можно прославиться и принести пользу другим, пытавшийся сделаться и чиновником, и актером, и педагогом, и профессором, понял, наконец, что его настоящее призвание есть литература, что смех, возбуждаемый его творениями, имеет под собой глубокое воспитывающее значение. «Дальнейшее продолжение «Мертвых душ», — говорит он в письме к Аксакову, — выясняется в голове моей чище, величественнее, и теперь я вижу, что сделаю, может быть, со временем, кое-что колоссальное, если только позволят слабые силы мои. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и

глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете».

В то же время религиозность, отличавшая его с детских лет, но до сих пор редко проявлявшаяся наружу, стала чаще выражаться в его письмах, в его разговорах, во всем его мировоззрении. Под ее влиянием он стал придавать своей литературной работе какой-то мистический характер, стал смотреть на свой талант, на свою творческую способность как на дар, ниспосланный ему Богом ради благой цели, на свою писательскую деятельность как на предопределенное свыше призвание, как на долг, возложенный на него Провидением.

«Создание чудное творится и совершается в душе моей, — писал он в начале 1841 года, — и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета».

Этот мистический, торжественный взгляд на свое произведение Гоголь высказывал пока еще очень немногим из своих знакомых. Для остальных он был прежним приятным, хотя несколько молчаливым собеседником, тонким наблюдателем, юмористическим рассказчиком.

Россия и все русские по-прежнему возбуждали в нем самый горячий интерес. Русских, заезжавших к нему в Рим, он выспрашивал о всем, что делалось в России, без устали слушал рассказы их о всяких новостях, литературных и нелитературных, о всех интересных статьях, появлявшихся в журналах, о всех новых писателях.

При этом он умел узнавать не только все, что ему хотелось, но и взгляды, мнения, характер рассказчика, сам же оставлял при себе свои задушевные мысли и убеждения. «Он берет полной рукой все, что ему нужно, ничего не давая», — выражался про него римский приятель, гравер Иордан.

Кроме России и Рима, ничто, по-видимому, не интересовало Гоголя. В периоды усиленной творческой работы он обыкновенно почти ничего не читал. «Одна хорошая книга достаточна в известные эпохи для наполнения всей жизни человека», — говорил он и ограничивался тем, что перечитывал Данте, «Илиаду» в переводе Гнедича и стихотворения Пушкина. Политическая жизнь Европы менее чем когда-нибудь привлекала его внимание; о Франции как родоначальнице всяких новшеств, как истребительнице того, что он называл «поэзией прошлого», он отзывался чуть не с ненавистью. Тогдашний Рим, Рим папского владычества и австрийского влияния, был ему по сердцу. Григорий XVI, по наружности такой добродушный, так ласково улыбавшийся на всех церемониальных выходах, умел подавлять все стремления своих подданных приобщиться к общей жизни европейских народов, к общему ходу европейской цивилизации. Беспокойная струя

невидимо просачивалась под почвой тогдашнего здания итальянской жизни, тюрьмы были переполнены не уголовными преступниками, а беспокойными головами, не уживавшимися с монастырски-полицейским режимом, но на поверхности все было гладко, мирно, даже весело. На площадях города гремели великолепные оркестры, по улицам беспрестанно двигались торжественные религиозные процессии, сопровождаемые толпами молящихся, библиотеки, музеи, картинные галереи гостеприимно открывали двери свои для всех желающих. Художники, артисты, ученые находили здесь все средства для занятий своей специальностью и тихий, укромный уголок, защищенный от тех бурь, отголоски и предвозвестники которых нарушали покой остальной Европы.

Поселившись в сравнительно малолюдной улице Via Felice, в очень скромно меблированной, но просторной и светлой комнате, Гоголь вел правильную, однообразную жизнь.

Вставал он обыкновенно рано и тотчас же принимался за работу, выпивая в промежутках графин или два холодной воды. Он находил, что вода необыкновенно благотворно на него действует, что только с помощью ее он поддерживает свои силы. Завтракал он в каком-нибудь кафе чашкой кофе со сливками, потом до позднего обеда опять работал, если не было русских, с которыми предпринимал прогулки по Риму и окрестностям, а вечера большей частью проводил в кругу своих приятелей художников.

К лету 1841 года первый том «Мертвых душ» был окончательно отделан и приготовлен к печати. Гоголь хотел сам руководить его изданием и приехать для этой цели в Россию. По мере того как подвигалась обработка его произведения и перед ним выяснился весь его план, он все более проникался мыслью о его великом значении. «Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами, — писал он С. Т. Аксакову, — мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович (Щепкин) и Константин Сергеевич (Аксаков). Им нужно же: Михаилу Семеновичу — для здоровья, Константину Сергеевичу — для жатвы, за которую уже пора ему приняться, а милее душе моей этих двух, которые бы могли за мною приехать, не могло бы для меня найтись никого! Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой, под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять — не для меня, нет. Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище. Стало быть, ее нужно беречь».

ГЛАВА IV. ПРЕДВЕСТНИКИ ДУШЕВНОГО РАССТРОЙСТВА

Перемена в душевном настроении Гоголя по возвращении из-за границы. — Затруднения с первым томом «Мертвых душ». — Физические и нравственные страдания Гоголя. — Неприятности московской жизни. — Сборы в Иерусалим. — Гоголь приходит в дом Аксаковых с образом Спасителя в руках. — Отъезд за границу. — «Блюстители огней истины». — Любовь и мистицизм. — Уединенные чтения отцов церкви с А. О. Смирновой. — Страсть к проповедничеству в беседах и письмах. — Денежные затруднения. — Трехлетняя субсидия от императора Николая I. — Трудные роды 2-го тома «Мертвых душ». — Молитва для испрашивания вдохновения у Бога

Личные дела помешали и Щепкину, и К. Аксакову исполнить просьбу Гоголя и встретить его на дороге в Россию. Он приехал один сначала на короткое время в Петербург, затем в Москву, где старые знакомые встретили его с прежним радушием. С. Т. Аксаков нашел в нем большую перемену за последние полтора года. Он похудел, побледнел, тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове. Его веселость и проказливость в значительной степени исчезли; в разговорах его прорывался порой прежний юмор, но смех окружающих как будто тяготил его и быстро заставлял переменять тон разговора.

Издание первого тома «Мертвых душ» доставило Гоголю немало волнений и внутренних страданий. Московский цензурный комитет не разрешил печатанья поэмы; его смущало само заглавие ее «Мертвые души», когда известно, что душа бессмертна. Гоголь отправился в петербургский цензурный комитет и долго не знал, какая судьба постигнет ее, будет она пропущена или нет. Ему пришлось по этому поводу обращаться с просительными письмами к разным влиятельным лицам: к Плетневу, Виельгорским, Уварову, кн. Дондукову-Корсакову, даже через Смирнову посылать прошение на Высочайшее имя. Наконец в феврале он получил известие, что рукопись разрешена к печатанию. Новая беда! Несмотря на его письма и просьбы, рукопись не присылали в Москву, и никто не мог сообщить ему, где она находится. Зная, какое значение он придавал своему произведению, можно себе представить, как волновался Гоголь. Он беспрестанно наводил справки на почте, обращался с вопросами ко всем, кто мог указать ему, куда девалось его сокровище, считал его погибшим. Наконец в первых числах апреля 1842 года рукопись была получена. Петербургская цензура не нашла ничего подозрительного в том, что смутило московскую, только «Повесть о капитане Копейкине» оказалась сплошь зачеркнутой красными чернилами. Гоголь тотчас принялся переделывать ее и в то же время приступил к печатанью поэмы в количестве 2500 экземпляров.

Все эти тревоги и неприятности болезненно отзывались на здоровье Гоголя. Нервы его расшатались, холод русской зимы удручал его. «Голова моя, — писал он Плетневу, — страдает всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе

представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно, малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хочет треснуть». В другом письме он так описывает свои болезненные припадки: «Болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда со мною еще не было, но страшнее всего мне показалось, когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительное приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулистическое состояние».

С. Т. Аксаков рассказывает, что при одном из таких обмороков Гоголю очень долго пришлось пролежать без всякой помощи, одному в своей комнате, в мезонине квартиры Погодина.

В письмах к знакомым Гоголь жаловался исключительно на физические страдания, но, кроме них, немало и нравственных неприятностей отравляли его жизнь в Москве. С Погодиным и в особенности с семьею Аксаковых его связывали личные отношения дружбы и благодарности, но он не мог всецело разделять их теоретических воззрений. Влияние петербургских литературных кругов, в которых он провел молодость, продолжавшиеся связи с Плетневым и Жуковским, наконец, долгая жизнь за границей, — все мешало этому. Славянофилы считали его вполне своим, и он действительно сходился с ними во многом, но их исключительность была чужда ему. В то время, как они считали Белинского злейшим врагом своим — и даже добродушный Сергей Тимофеевич Аксаков выходил из себя, говоря о нем, Гоголь виделся с ним в одном знакомом доме и поручил ему доставку «Мертвых душ» в Петербург. Объяснить друзьям прямо и откровенно свое отношение к их партии, показать им, до каких пор он идет с ними, Гоголь не мог, как вследствие природной уклончивости своего характера, так и потому, что те философские теории, которыми они волновались, те выводы, которые они делали из этих теорий, далеко не ясно представлялись уму его, да он и не пытался разбираться в них. Мистическое настроение, охватившее его во время болезни в Риме, развивалось все сильнее и сильнее; мысль его устремлялась все к небу, к средствам достигнуть небесного блаженства, а земные споры о различных философских и общественных вопросах казались ему ничтожными, не стоящими большого внимания. Друзья не подозревали того процесса, который происходил в душе его, но часто замечали его скрытность, неискренность; это огорчало и возмущало их. Особенно обострились отношения Гоголя с Погодиным, в доме которого он жил.

Погодин оказал много услуг Гоголю, ссужал его деньгами, хлопотал по его делам, предлагал в своем доме щедрое гостеприимство ему и всей его семье, и в силу этого считал себя вправе предъявлять ему известные требования. Журнал его, «Москвитянин», шел плохо: вялые статьи его наводили уныние на читателей, подписчиков было мало, — ему во что бы то ни стало хотелось привлечь к сотрудничеству Гоголя и именем талантливого популярного писателя поправить свои литературные дела. Напрасно Гоголь уверял, что не имеет ничего готового, что не в состоянии в данное время писать, — он не допускал в жизни автора таких периодов, когда ему «не творится», и беспрестанно мучил Гоголя, требуя у него статей в свой журнал, причем грубо упрекал его в неблагодарности. Легко понять, как болезненно действовали на нервную впечатлительную натуру Гоголя подобные требования и упреки! Ему не хотелось ни открыто поссориться с Погодиным, уехав из его дома, ни даже рассказывать другим о его неделикатных поступках. Он молчал, но втайне мучился и раздражался. Знакомые, не понимавшие настоящей причины этой раздражительности, слышавшие постоянные жалобы Погодина на дурной характер Гоголя, обвиняли его в неуживчивости, сварливости.

Неприятности московской жизни заставили Гоголя отказаться от своего первоначального предположения «пожить подольше в России, узнать те ее стороны, которые были не так коротко знакомы ему», и он стал снова собираться в путь. Друзья и знакомые упрашивали его остаться, засыпали его вопросами, куда именно он едет, надолго ли, скоро ли вернется, но эти просьбы и вопросы были, видимо, неприятны ему, он отвечал на них уклончиво, неопределенно. Один раз он очень удивил Аксаковых, явившись к ним с образом Спасителя в руках и с необыкновенно радостным, сияющим лицом. «Я все ждал, — сказал он, — что кто-нибудь благословит меня образом; но никто не сделал этого. Наконец Иннокентий благословил меня, и теперь я могу объявить, куда я еду: я еду ко гробу Господню».

Гоголь провожал преосвященного Иннокентия, отъезжавшего из Москвы, и тот на прощанье благословил его образом, а он увидел в этом указание свыше, божеское одобрение предприятию, о котором он мечтал в глубине души, никому не говоря ни слова.

Неожиданное намерение Гоголя возбудило сильнейшее недоумение и любопытство, вызвало массу толков и пересудов в московских кружках: его считали чем-то странным, нелепым, едва ли не безумным. Гоголь никому не объяснял тех нравственных побуждений, в силу которых явилось у него это намерение, и вообще избегал всяких разговоров о предполагаемом путешествии, особенно с людьми, не разделявшими его религиозного настроения.

По мере того, как печатанье «Мертвых душ» благополучно приближалось к концу, а погода становилась теплее, здоровье Гоголя поправлялось... и расположение духа его прояснялось. 9 мая он отпраздновал свои именины большим обедом в саду у Погодина, и на этом обеде друзья опять увидели его веселым, разговорчивым, оживленным. Тем не менее, как только первый том «Мертвых душ» вышел из печати в конце мая, Гоголь уехал из Москвы. В июне он был в Петербурге, но и оттуда торопился уехать. Сначала он предполагал одновременно с первым томом «Мертвых душ» издать полное собрание своих сочинений и сам следить за их печатанием. Теперь ему показалось, что это слишком задержит его в России; он поручил издание своему приятелю Прокоповичу и в июне уехал за границу, не дождавшись даже отзывов печати о своем новом произведении. А между тем отзывы эти были такого рода, что могли бы заставить его позабыть многие неприятности последнего года.

Все три литературных лагеря, начинавших делить господство над общественным мнением, встретили книгу его с восторженным сочувствием. Плетнев поместил очень обстоятельную и хвалебную статью о ней в своем «Современнике»; Константин Аксаков в своей брошюре сравнивал Гоголя с Гомером; для Белинского и его круга «Мертвые души» были знаменательным явлением, утверждавшим в литературе новую эпоху.

К сожалению, Гоголь совсем не понимал значения, какое приобретала в это время русская литература, русская журналистика как руководительница общественного мнения и общественного сознания. Чуждый тех глубоких принципиальных вопросов, которые производили раскол в передовых умах его времени, он принимал страстный полемический задор представителей разных литературных партий за личное раздражение и негодовал на него. Вот что он писал Шевыреву вскоре по отъезде за границу: «...в душевном состоянии твоем кроме другого слышна, между прочим, грусть, — грусть человека, взглянувшего на положение журнальной литературы. На это я тебе скажу вот что: это чувство неприятно, и мне оно вполне знакомо. Но является оно тогда, когда приглядываешься более чем следует к этому кругу. Это зло представляется тогда огромным и как бы обнимающим всю область литературы, но как только выберешься хотя на миг из этого круга и войдешь на мгновение в себя — увидишь, что это такой ничтожный уголок, что о нем даже и помышлять не следует. Вблизи, когда побудешь с ними, мало ли чего не вообразится? Покажется даже, что это влияние страшно для будущего, для юности, для воспитания; а как взглянешь с места повыше — увидишь, что все это на минуту, все под влиянием моды. Оглянешься, уже на место одного — другое: сегодня гегелисты, завтра шеллингисты, потом опять какие-нибудь исты. Что же делать? Уже таково стремление общества быть какими-нибудь истами.

Человечество бежит опрометью, никто не стоит на месте; пусть его бежит, так нужно. Но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огней истины, если они увлекутся общим движением, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся. Хоровод этот кружится, кружится и, наконец, может вдруг обратиться на место, где огни истины. Что же, если он не найдет на своих местах блюстителей и если увидят, что святые огни пылают неполным светом? Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься немногие, которым Бог дал не общие всем дары. Человеку, рожденному с силами большими, следует, прежде чем сразиться с миром, глубоко воспитать себя. Если же он будет живо принимать к себе все, что современно, он выйдет из состояния душевного спокойствия, без которого невозможно наше воспитание». — «Итак, мне кажется, современная журнальная литература должна производить в разумных скорее равнодушие к ней, чем какое-либо сердечное огорчение. Это просто плошка, которая не только что подчас плохо горит, но даже еще и воняет».

Одним из блюстителей священного огня истины Гоголь, очевидно, считал и себя. Он отправляется в уединение, чтобы там в тишине продолжать труд, который считал своим призванием. Едва доехав до Гаштейна, где он проводил конец лета с больным Языковым, он уже писал Аксакову, прося прислать ему каких-либо статистических сочинений о России и реестр всех сенатских дел за истекший год. Они, очевидно, нужны были ему для правдивого изображения разных подробностей в жизни его героев. За последующее время Гоголь не раз обращался ко многим лицам с просьбами подобного же рода: ему хотелось знать, какие доходы приносят разные имения, чем землевладельцы могут быть полезны окружающим, насколько уездный судья в своей должности может приносить пользы или вреда, и т. п. Хотя он говорит: «В самой природе моей замечена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удаляюсь от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она представляется мне вся, во всей своей громаде», — но, очевидно, невозможность наблюдать явления, ложившиеся в основу его произведения, давала себя чувствовать.

Окончание «Мертвых душ» связывалось в душе его с предполагаемым путешествием в Иерусалим. Он находил, что может предпринять этот путь только по совершенном окончании своего труда, что это окончание так же необходимо ему перед путешествием, «как душевная исповедь перед святым причащением». Он мечтал значительно расширить рамки своего произведения, кроме второго тома написать еще третий, создать нечто важное и великое, о чем первый том не дает и понятия.

«Это больше ничего как крыльцо к моему дворцу, который во мне строится», — писал он Плетневу.

«Мертвые души» должны были представить типы не только отрицательные, но и положительные; яркое изображение людской пошлости и низости казалось автору недостаточно поучительным; ему хотелось, кроме того, дать образцы, которые показали бы людям, каким путем могут и должны они достигать нравственного совершенства. Задавшись такими дидактическими целями, Гоголь не мог уже писать под влиянием непосредственно творческого порыва. Ему прежде всего надобно было разрешить вопрос, в чем состоит то нравственное совершенство, к которому он намерен вести своих читателей, и ответ на этот вопрос он как человек религиозный искал в Евангелии и в писаниях св. отцов церкви. Затем у него естественно являлось сомнение, может ли человек порочный, греховный вести других по пути добродетели, и сильное желание самому очиститься от греха, поднять нравственно самого себя.

* * *

Гоголь писал Щепкину о постановке в театре своих пьес, перерабатывал некоторые сцены «Ревизора», отделывал окончательно «Женитьбу» и «Игроков», шутил в письмах к приятелям, вел с Плетневым и Прокоповичем деловую переписку по поводу издания «Мертвых душ» и полного собрания своих сочинений; никто из корреспондентов не подозревал того процесса, который совершался в душе его; о нем он намекал только немногим близким: матери, сестрам, С. Т. Аксакову, поэту Языкову и некоторым другим; вполне же откровенно высказывался он почти исключительно в письмах и разговорах с А. О. Смирновой.

В Москве ходили разные слухи о любви Гоголя к Александре Осиповне, и московские знакомые боялись, как бы эта любовь не погубила поэта. Может быть, любовь и действительно существовала, но Гоголь старался придать ей чисто духовный характер, превратить ее в «любовь душ». Смирнова переживала именно в это время мучительный душевный кризис. С ранних лет она блистала в светских гостиных, видела у ног своих толпы поклонников, увлекала и сама увлекалась. Но мало-помалу, как женщина умная, она поняла пустоту окружающей жизни; салонные разговоры, легкие победы над мужчинами перестали занимать ее. Серьезного интереса к чему бы то ни было она не испытывала, семейная жизнь не удовлетворяла ее; муж ее, Н. М. Смирнов, был добрый, честный человек, но не обладал ни блестящим умом, ни выдающимися дарованиями; он не понимал беспокойных порывов жены; она не могла разделять его слишком «материальных» вкусов и мучилась, не находя себе опоры в жизни. В этом душевном настроении она попробовала обратиться к религии и в ней искать утешения. Зиму 1843 года она провела в Риме, где жил и Гоголь. Он открывал перед ней все чудеса искусства вечного города, он заставлял ее любоваться древними развалинами и новыми произведениями живописи и скульптуры, с ней

он снова обошел все свои любимые церкви и каждую прогулку по Риму кончал непременно собором Св. Петра, на который, по его мнению, нельзя было довольно наглядеться. При том душевном настроении, в каком находилась Александра Осиповна, она не всегда могла разделять его увлечение миром искусства, ее мысли были заняты другим. В Риме она вошла в кружок З. Волконской, князя Гагарина и других русских аристократов, ревностных католиков. Внешняя сторона католичества имела много привлекательного для артистической натуры Александры Осиповны; но Гоголь, глубже понимавший религию, удерживал ее от этого увлечения и старался направить внимание ее главным образом к общим основам христианского учения. Эти разговоры, жалобы Смирновой на неудовлетворенность жизнью, религиозные утешения, которые предлагал ей Гоголь, с одной стороны скрепляли более и более их дружбу, с другой — заставляли Гоголя все чаще и чаще уходить мыслью от всего земного в область духовно-нравственных вопросов. Он не оставлял работы над «Мертвыми душами», но теперь на первом плане стояло для него личное усовершенствование, и он все строже и строже относился как к самому себе, так и к своей работе. «Чем более торопим себя, тем менее подвигаем дело», — писал он. — «Да и трудно это сделать, когда внутри тебя заключился твой неутомимый судья, строго требующий отчета во всем и поворачивающий всякий раз назад при необдуманном стремлении вперед». — «Я знаю, что после буду творить полнее и даже быстрее: но до этого еще не скоро мне достигнуть. Сочинения мои, так сказать, связаны тесно с духовным образованием меня самого, и такое мне нужно до того времени внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих сочинений».

Религиозное настроение и Гоголя, и Смирновой особенно развилось после зимы 1843—44 годов, проведенной ими в Ницце. Там в это время была целая колония русских аристократов. Александра Осиповна не пренебрегала своими светскими обязанностями, посещала общество, была одним из украшений гостиной Великой княгини Марии Николаевны; Гоголь писал, гуляя на берегу моря, читал небольшому кружку знакомых «Тараса Бульбу», часто оживлял общество веселыми, остроумными разговорами; но все это была только внешняя сторона их жизни, главная же суть ее состояла в другом. Оставаясь наедине, они читали сочинения св. отцов церкви, вели бесконечные разговоры о разных душевно-нравственных вопросах, взаимно поддерживали друг в друге религиозное настроение. На Смирнову часто находили минуты безотчетной тоски, мучительного недовольства жизнью. Чтобы успокоить ее, Гоголь советовал ей заучивать наизусть псалмы и внимательно следил за исполнением этого совета. Каждый день после обеда должна была она отвечать ему заданный им отрывок одного из псалмов, и если она запиналась на каком-нибудь слове, он говорил: «не твердо», и отсрочивал урок до следующего дня. Свидетельницами и до

некоторой степени участницами этой интимной жизни Гоголя и Смирновой были Виельгорские, проводившие эту зиму также в Ницце. После смерти Иосифа Виельгорского вся его семья относилась к Гоголю самым дружелюбным образом. Отец его, гофмейстер граф Михаил Юрьевич, принимал деятельное участие в судьбе Гоголя и не раз оказывал ему услуги своим влиянием при дворе; мать и сестры смотрели на него, как на родного. Семейство Виельгорских всегда отличалось набожностью и стремлением к мистицизму. Михаил Юрьевич был в последние годы царствования императора Александра Павловича одним из известных масонов, а жена его — ревностной католичкой. Луиза Карловна и ее две дочери, из которых старшая была замужем за известным писателем гр. Соллогубом, окружали Гоголя атмосферой искренней дружбы и доверия. Благодаря своей способности наблюдать тайные движения души, «угадывать» людей, он скоро стал поверенным и матери, и дочерей. Они говорили с ним о всех неприятностях, советовались о всех домашних делах. Одна из дочерей поверяла ему невзгоды своей супружеской жизни, другую он руководил в выборе книг для чтения и в распределении занятий. Среди всех этих женщин Гоголь играл роль друга, советника, проповедника.

«Да благословит вас Бог, — писала ему несколько позднее Смирнова, — вы, любезный друг, выискали мою душу, вы ей показали путь, этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется. На нем растут прекрасные розы благоуханные, сладко душу успокаивающие. Если бы мы все хорошо вполне понимали, что душа сокровище, мы бы берегли ее больше глаз, больше жизни, но не всякому дано почувствовать это самому и не всякий так счастливо нападает на друга, как я».

Стремление приносить пользу, жившее с самого детства в Гоголе, находило, таким образом, очевидно, осязательное удовлетворение: он видел, что его советы, его поучения и наставления ободряют, укрепляют, заставляют людей серьезнее относиться к своим обязанностям, разумнее устраивать жизнь. Он стал распространять свою учительскую деятельность на более широкий круг лиц: мать, сестры, а вслед за тем и многие знакомые (Аксаков, Языков, Анненков, Перовский, Данилевский, Погодин, даже Жуковский) получали от него письма, удивлявшие их своим проповедническим тоном, своею претензией заглядывать в душу, руководить чужие мысли и чувства.

В том душевном настроении, в каком находился в то время Гоголь, всякие чисто материальные заботы были ему особенно тяжелы. Он вел самый умеренный, простой образ жизни, нанимал недорогие квартиры, не позволял себе никаких излишеств ни в пище, ни в одежде; на одно только приходилось ему тратить много — на путешествия. После 1842 года он беспрестанно менял местожительство: он жил по несколько месяцев в Риме, в Ницце, во Франкфурте, в Париже, в Дюссельдорфе,

лечился водами в разных немецких курортах, пользовался морскими купаньями в Остенде. Эти переезды с места на место вызывались, главным образом, слабостью его здоровья. Несколько раз повторялись с ним те болезненные припадки, на которые он так горько жаловался в Москве; ему приходилось то искать успокоения для нервов в тиши римской Via Felice, то убегать от удушливого итальянского зноя, то, по совету врачей, укреплять себя купаньями. Путешествие, по его собственному убеждению, самым благотворным образом действовало на его организм, и он прибегал к нему всякий раз, когда чувствовал себя очень дурно. А между тем в то время, когда железных дорог в Европе не существовало, путешествия эти обходились очень дорого. Денежные дела Гоголя находились в самом плачевном состоянии. Часть выручки за первый том «Мертвых душ» шла на уплату прежде сделанных долгов, издание полного собрания его сочинений встречало разные задержки. Прокопович, отчасти по неопытности, отчасти сбитый разноречивыми указаниями, какие давал ему по этому поводу Гоголь в своих письмах, повел дело непрактично. Явились разные проволочки, препятствия, неприятные объяснения. Печатание стоило страшно дорого, да кроме того типография напечатала больше указанного числа экземпляров и продавала контрафакцию[3] в свою пользу со значительной уступкой. Все это сильно волновало Гоголя: ему хотелось бы отрешиться от всяких мирских забот, не отрываться от мысли о спасении души своей и о совершении подвига, назначенного ему самим Богом, о создании великого литературного произведения, а между тем денежные рассчеты и связанные с ними дрязги постоянно отклоняли его в сторону. Не зная, как помочь себе, он обратился к своим московским приятелям — Шевыреву, Погодину и Аксакову — с довольно странной просьбой: взять в свои руки все дела его по изданиям, получать за него все причитающиеся ему деньги, а ему взамен того в течение трех лет высылать по 6 тысяч рублей ассигнациями в год. Этой суммы было, по его расчету, совершенно достаточно для обеспечения ему спокойного, безбедного существования, которое даст ему возможность и укрепить здоровье, и окончить «Мертвые души». Ни один из корреспондентов его не согласился взять на себя подобного рода обязательство, и Гоголю пришлось опять прибегать к займам, чтобы как-нибудь свести концы с концами.

Несмотря на все свои денежные затруднения, или, может быть, именно потому, что они слишком мучили его, слишком часто мешали ему заниматься «душой и делом душевным», он решил часть денег, выручаемых от продажи его сочинений, — этих «выстраданных», как он их называл, денег, — употребить на помощь ближним. В конце 1844 года он написал Плетневу в Петербург и Аксакову в Москву, прося их, чтобы они больше не пересылали ему деньги, получаемые от книгопродавцев за полное собрание его сочинений, а сохраняли их и из них выдавали пособия наиболее талантливым студентам университета, тщательно

скрывая при этом, от кого именно идет пособие. Эта просьба крайне удивила знакомых Гоголя. Они находили нелепой такую филантропическую затею со стороны человека, который сам постоянно нуждался. Смирнова, бывшая в то время в Петербурге, написала ему по этому поводу резкое письмо, напоминая, что у него на руках малообеспеченная мать и сестры, что и сам он не имеет права морить себя голодом или жить в долг, отдавая чужим свои деньги. Гоголь был обижен тем несочувствием, какое встретило его желание среди знакомых, но скоро факты ясно убедили его в непрактичности и даже неудобоисполнимости этого желания. Издание его сочинений распродавалось очень туго, печатание стоило дорого, получаемых денег едва хватало ему на жизнь, а между тем дела по имению его матери часто запутывались, несмотря на всю ее хлопотливую деятельность, и, чтобы спасти Васильевку от продажи за невзнос процентов в опекунский совет, необходимо было время от времени посылать ей небольшие суммы.

«Вам бы надо было о нем позаботиться у Царя и Царицы, — писал Жуковский Смирновой, — ему необходимо надо иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня. Подумайте об этом: вы лучше других можете характеризовать Гоголя с настоящей, лучшей стороны». Смирнова охотно взялась похлопотать за своего друга, и действительно, император Николай Павлович назначил Гоголю по тысяче рублей серебром в год на три года.

Тот срок, через который Гоголь обещал вернуться в Москву с готовым вторым томом «Мертвых душ», прошел, а никто не знал, в каком положении находится его работа. На любопытные вопросы приятелей он или молчал, или отвечал с неудовольствием, что «»Мертвые души»— не блин, который можно спечь, когда захотел». Очевидно, труд подвигался вперед медленно, и это раздражало его самого. Может быть, вследствие болезненного состояния, может быть, вследствие нервного напряжения, с которым он поддерживал и развивал в себе религиозное настроение, но его непосредственное творчество, в прежние годы создававшее яркие образы на канве какого-нибудь случайно услышанного происшествия, теперь редко посещало его. А между тем он не мог оставить труд, который считал своим священным долгом, своим подвигом на благо человечества, и он писал, недовольный собой, беспрестанно уничтожая, переделывая написанное. Чтобы понять, с каким трудом и каким путем давалось ему теперь то, что прежде являлось совсем легко само собой, стоит прочесть письмо, в котором он советует Языкову молитвой испрашивать себе у Бога вдохновения: «Нужно, чтобы эта молитва была от всех сил души нашей. Если такое постоянное напряжение хотя на две минуты в день соблюсти в продолжение одной или двух недель, то увидишь ее действие

непременно. К концу этого времени в молитве окажутся прибавления. Вот какие произойдут чудеса. В первый день еще ни ядра мысли нет в голове твоей; ты просишь просто вдохновения. На другой или на третий день ты будешь говорить просто: «Дай произвести мне в таком-то духе». Потом на четвертый или пятый: с такой-то силой. Потом окажутся в душе вопросы: «Какое впечатление могут произвести задумываемые творения и к чему могут послужить?» И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что весь состав уже сам собою превратится в восторг, и к концу какой-нибудь недели увидишь, что уже все получилось, что нужно: и предмет, и значение его, и сила, и глубокий внутренний смысл, словом — все; стоит только взять в руки перо да и писать».

ГЛАВА V. НЕОЖИДАННОЕ КРУШЕНИЕ

Гоголь пишет «Размышления о божественной литургии». — Он сжигает рукопись 2-го тома «Мертвых душ». «Выбранные места из переписки с друзьями». — Буря, вызванная этой книгой. — Письмо Белинского к Гоголю по поводу его переписки с друзьями. — Действие, произведенное на Гоголя всем этим погромом. — Путешествие ко святым местам

1845 год был очень тяжелым для Гоголя. В конце 1844 года он, живя во Франкфурте, почувствовал приступы болезни и по своему обыкновению лечиться путешествием отправился в Париж. Там ему первое время стало как будто лучше. Он жил в тесном кругу своих друзей Виельгорских и графа А. П. Толстого, каждый день ходил к обедне в русскую церковь, изучал чин литургии с помощью одного знатока греческого языка, отставного учителя Беляева, и писал: «Размышления о божественной литургии». Но с февраля болезненные припадки его усилились, и он опять уехал во Франкфурт. К физическим страданиям присоединялась тоска, ипохондрия. «Душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносит болезнь, — жалуется он в письме к Смирновой, — и ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком». — «Болезненные состояния до такой степени были невыносимы, — говорит он в другом письме, — что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение». Страх смерти снова овладел им. Он чувствовал, мучительно чувствовал, что жизнь уходит от него, что он умирает, умирает, ничего не сделав великого, полезного! В последние годы он, по мере развития религиозного чувства, все более отрицательно относился к своим литературным произведениям. В письмах к Смирновой он высказывал желание, чтобы все экземпляры его сочинений сгорели; он говорил, что натворил в них много глупостей, что не любит их, особенно первого тома «Мертвых душ». Все они писались под наитием непосредственного творчества, без серьезно задуманной цели поучать. Перед ним лежал почти готовый, хотя еще в рукописи, второй том «Мертвых душ», каждая строка, каждый характер которого были строго

обдуманы, вымолены у Бога, но и он не удовлетворял автора, готовившегося предстать на суд Божий и отдать отчет в употреблении таланта, полученного от Бога. С тоской, с болью в сердце сжег он рукопись, принес ее в жертву Богу, и вдруг, как только сгорела рукопись, новое содержание ее представилось уму его «в очищенном, светлом виде, подобно фениксу из костра». Ему казалось, что теперь, наконец, он знает, как следует писать, чтобы «устремить все общество к прекрасному». А между тем, болезненные припадки продолжались, слабость, зябкость во всех членах, мучительная тоска не давала приняться за работу...

Во время одного из таких болезненных припадков ему пришло в голову, что, кроме печатных сочинений, польза которых казалась ему более чем сомнительной, он писал еще письма, и некоторые из них имели несомненно благотворное действие на тех, кому были адресованы. Что если собрать, издать их для всеобщего назидания? Благотворное влияние их распространится на сотни, на тысячи, на всю массу читающего люда... При том мистическом настроении, в каком находился в то время Гоголь, он принял эту мысль за внушение свыше. Как только силы позволили ему, он немедленно принялся за приведение ее в исполнение: он потребовал от знакомых те письма, которые считал наиболее подходящими к своей цели; некоторые из них он переделал, обработал некоторые ранее написанные статьи. Какое значение придавал он своему труду, видно из переписки его с Плетневым по поводу его издания в свет. «Наконец моя просьба! — пишет он, посылая ему первую тетрадь. — Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги под заглавием: «Выборные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем; вот что покамест могу сказать, все прочее объяснит тебе сама книга».

В другом письме он говорит: «Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанью книги, это нужно, нужно и для меня, и для других, — словом, нужно для общего добра».

Назначая цену книги, он находит, что ее можно сделать подороже, «соображая то, что ее будут более покупать люди богатые и достаточные, а бедные получат даром от их великодушных раздач». Гоголь дает подробные указания: на какой бумаге должна печататься книга, каким шрифтом, в каком формате, чтобы внешность ее была проста и как можно более удобна для чтения; он подробно перечисляет, кому следует послать даровые экземпляры ее, начиная со всех лиц царствующего дома; очень боится, как бы цензура не испортила его произведения; хочет, чтобы в случае надобности Смирнова представила книгу на усмотрение государя, который несомненно найдет, что это дело вполне полезное, требующее поддержки и поощрения. Он был убежден, что его

книга встретит общее сочувствие, что она рассеет недоумение и разные нелестные слухи, ходившие о нем в литературных кругах вследствие странного мистико-учительского тона некоторых его писем, что она создаст ему настоящую, прочную славу, что она явится тем общеполезным делом, о котором он постоянно мечтал.

Между тем как Гоголь, вдали от России, ставил на первый план свое собственное нравственное усовершенствование и, собираясь выступить в роли моралиста-проповедника, отрицательно относился ко всем своим предшествовавшим произведениям, произведения эти приобретали все более и более сторонников, создавали автору их первенствующее положение в литературе. Он становился родоначальником так называемой натуральной школы: вся читавшая и мыслившая Россия с нетерпением ждала продолжения его «Мертвых душ», первый том которых завоевывал себе все более обширный круг читателей и поклонников. Некоторые намеки в письмах Гоголя понимались его знакомыми в том смысле, что второй том «Мертвых душ» уже готов к печати. Каково же было удивление Плетнева, когда вместо этого ему принесли тоненькую тетрадь «Выбранных мест из переписки с друзьями» и письмо Гоголя, в котором он просит печатать это произведение втайне, в малоизвестной типографии, и не говорить о нем никому из знакомых. Несмотря на старание Плетнева исполнить странную просьбу приятеля, тайна разгласилась, и прежде чем книга вышла в свет, о ней уже говорили в литературных кругах, она вызвала недоумение, изумление, негодование.

Такое же впечатление произвели и три небольших произведения Гоголя, над которыми он трудился в то же время и которые он отправил в Россию через несколько дней после «Выбранных мест», а именно: «Предисловие ко 2-му изданию «Мертвых душ»», где он сознается, что многое в его книге написано неверно, и просит читателей прислать ему свои критические замечания и вместе с тем рассказы о разных известных им происшествиях и личностях; «Развязка Ревизора», придающая всей пьесе характер какой-то странной аллегории, и «Предуведомление», в котором объявляется, что 4 и 5-е издания «Ревизора» продаются в пользу бедных и назначаются лица, которые будут заведовать раздачей пособий неимущим в Петербурге и Москве.

Негодование было, можно сказать, общее; на нем опять-таки сошлись все главные литературные партии. И славянофилы, и западники нашли в «Переписке» мысли и выражения, оскорблявшие самые святые убеждения их; люди, возмущавшиеся многими безобразными явлениями современной жизни, негодовали на спокойно-примирительное, даже сочувственное отношение к ним автора; смирение, с каким он говорил о собственном ничтожестве и о слабости всех своих предшествовавших произведений, казалось маской,

прикрывавшей высочайшее самомнение; проповеднический, резко обличительный тон некоторых страниц поражал своим высокомерием, само религиозное настроение автора возбуждало сомнение, обвинение в неискренности, в каких-то практических расчетах.

Из Петербурга и Москвы посыпался на Гоголя целый град писем с вопросами, с выражением удивления, с упреками, с криками негодования. Даже лица, которые соглашались с большинством основных положений его книги (Жуковский, Плетнев, кн. Вяземский, Вигель и пр.), восставали против ее резкости, угловатости, против ее заносчивого тона.

С. Т. Аксаков убеждал Плетнева и Шевырева не печатать последних произведений Гоголя, так как «все это ложь, дичь и нелепость, и если будет обнародована, то сделает Гоголя посмешищем всей России». Самому Гоголю он писал: «Если вы желали произвести шум, желали, чтобы высказались и хвалители, и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы глубоко и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека. Если б эту книгу написал обыкновенный писатель — Бог бы с ним! Но книга написана вами; в ней блещет местами прежний, могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые Маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство — измена ему».

В печати явились статьи, строго осуждавшие «Выбранные места». В «Современнике» Белинский энергично протестовал против идей, выраженных автором, против отречения его от прежних произведений, против догматического тона, каким проникнута его книга. Гоголь не был близко знаком с Белинским, но знал и ценил его мнения о своих первых произведениях, и не мог отнестись равнодушно к его нападкам. «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в № 2 «Современника», —

писал он ему, — не потому, чтобы мне было прискорбно унижение, в котором вы меня хотели поставить на виду всех, но потому, что в ней слышен голос человека на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить человека, не любившего даже меня, тем более вас, о котором я думаю как о человеке, меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги; как же вышло, что на меня рассердились все до одного в России, этого покуда я еще не могу понять; восточные, западные и нейтральные — все огорчились. Это правда: я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобности его на собственной коже (всем нам нужно побольше смирения). Но я не думал, чтобы щелчок мой вышел так груб, неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят, и что в книге моей зародыш всеобщего примирения, а не раздора». Белинский лежал больной в Зальцбруне, когда получил это письмо Гоголя. Оно еще более усилило негодование его против автора «Переписки». Смиренно-заносчивый тон письма, сведение всего дела как бы на личную почву, игнорирование тех важных общественных вопросов, на неправильное понимание которых он намекал в статье своей, — все это возмутило его до глубины души. Слабый, полуумирающий, он с лихорадочным возбуждением взялся за перо и написал длинное ответное письмо, в котором с увлекательным красноречием указывал Гоголю вредоносное значение идей, проводимых им в его «Переписке».

«Вы только отчасти правы, — писал он между прочим, — увидев в моей статье рассерженного человека; этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы совсем не правы, приписав это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя промолчать, когда проповедывают ложь и безнравственность как истину и добродетель. Да, я любил вас со всею страстью, как человек, кровью связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь и славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния вашего духа, потеряв право на такую любовь».

«Я думаю, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге; но это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет смотрели на Россию из вашего прекрасного далека». — «Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в пиэтизме,[4] а в

успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе. Ей нужны права и законы, сообразные со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности выполнение их».

«Самые живые современные национальные вопросы России теперь: уничтожение крепостного права и отмена телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в своем апатическом полусне. И в это время великий писатель, который давно художественными и глубокомысленными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, явился с книгою, которою учит варвара-помещика наживать от крестьян побольше денег, ругая их «неумытыми рылами». — Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки. Нет, если бы вы действительно прониклись духом Христова учения, совсем не то писали бы вы к вашему адепту из помещиков; вы бы писали ему, что «так как крестьяне его братья по Христу, и так как брат его не может быть рабом своего брата, то он должен дать им свободу или, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготное для них, сознавая себя в глубине своей совести в ложном к ним положении». — «И такая-то книга может быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просвещения? Не может быть!.. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских прав, что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною!» — «Вот мое последнее заключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вы должны с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжелый грех ее издания искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние».

* * *

Неожиданное впечатление, произведенное «Выбранными местами», поразило, ошеломило Гоголя. Так внезапно быть свергнутым с того пьедестала, на который он славил себя и свое произведение — это было ужасно! Он пробовал утешать себя мыслью, что в этом виновата главным образом цензура, что, не пропустив некоторые его статьи, сократив другие, она лишила книгу ее целости, сделала цель и намерения ее не довольно ясными. Он усиленно хлопотал о восстановлении пропущенных мест, надеясь на вмешательство верховной власти и на то, что книга в полном своем объеме рассеет все недоразумения. При первых нападках он крепился и отвечал довольно благодушно, уверяя, что рад им, что любит слышать себе суждение, даже

самое жесткое, что оно показывает ему с одной стороны его самого, с другой — читателей. Но время шло: многие прочли в рукописи места, не пропущенные цензурой, и это нисколько не заставило их смягчить своих приговоров, а приговоры эти были жестоки.

«Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением», — жалуется он в своей «Авторской исповеди».

Письмо Белинского произвело сильное впечатление на Гоголя. Он написал на него два ответа, из которых один только дошел по назначению, и этот один свидетельствует о сильном упадке духа: «Я не мог отвечать на ваше письмо, — говорит он. — Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражение еще прежде, нежели я получил ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть в ваших словах есть часть правды». Он недоумевает, почему умные и благородные люди высказывают противоречивые мнения о его книге, и убеждается в одном только, что не знает России, что многое в ней изменилось, и что он не может ничего больше писать «до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого собственными глазами и не пощупаю собственными руками».

Другой ответ Гоголя Белинскому написан им только начерно и найден в его бумагах разорванным. Он гораздо длиннее и отличается совершенно иным характером: «С чего начать мой ответ на ваше письмо, — так начинает Гоголь, — если не с ваших же слов: опомнитесь, вы стоите на краю бездны! Как далеко вы сбились с прямого пути! в каком вывороченном виде стали перед вами вещи! в каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу!» Далее он обвиняет Белинского в том, что тот отклонился от своего прямого назначения — «показывать читателям красоты в твореньях наших писателей, возвышать их душу и силы до понимания всего прекрасного, наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом действовать на их души»; жалеет, что он вдался «в омут политической жизни, в эти мутные события современности, среди которой и твердая осмотрительность многостороннего ума теряется»; находит, что, упрекая его в незнании России и русского общества, Белинский и сам ничем не доказал этого знания, да и не мог приобрести его, «живя почти без прикосновения с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника». Особенно возмутил Гоголя высказанный в письме Белинского намек на практические выгоды, какие может принести исповедание идей, высказываемых в

«Переписке». «Я попал в излишества, — сознается он, — но я этого даже не заметил. Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира, тем более теперь, когда мне пора подумать о смерти. Это не в моей натуре. Вспомнили бы вы, по крайней мере, что у меня нет даже угла, и что я стараюсь о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтобы легче было расставаться с миром. Стало быть, вам бы следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, которыми, признаюсь, я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца».

Откровенности, строгих замечаний, осуждений просил и требовал Гоголь от всех своих знакомых после издания первого тома «Мертвых душ». Но теперь, когда эти замечания превратились в едкие нападения, в жесткие упреки, он был подавлен ими: «Ради самого Христа, — писал он к Аксакову в июле 1847 года, — прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострадущей душе, из милосердия прошу вас взойти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношения мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мною, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины! этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце мое разбито, и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнемогает, что ни есть в тебе».

Тяжело было Гоголю перенести бурю, вызванную его книгой, но она послужила ему на пользу. Она заставила его построже оглянуться на себя, сойти с той проповеднической кафедры, на которую он вознес себя с помощью своих восторженных поклонников и поклонниц, заставила его не с напускным, а с действительным смирением сознаться, что слишком самонадеянно вздумал он учить других, когда, по собственному признанию, еще сам не успел «состроиться». В письмах, писанных им после 1847 года, заметно гораздо меньше дидактически-наставнического тона, гораздо больше сердечности и задушевности, чем в предшествовавшие три-четыре года. «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее», — сознавался он Жуковскому. Кроме того, из полученных замечаний и возражений он увидел, что был неправ, настаивая исключительно на нравственном совершенствовании отдельных личностей и вполне игнорируя общественные вопросы, что в обществе является интерес к этим, как он называл, государственным вопросам и что художественное произведение, не затрагивающее их, не может пользоваться влиянием.

Религиозное чувство помогло Гоголю перенести удары, неожиданно обрушившиеся на него, но, между тем, положение его было ужасно: кроме осуждений, направленных против его личности, он слышал толки, что талант его погиб, что он отказывается от писательской деятельности, и минутами ему казалось, что это может быть справедливо… Второй том «Мертвых душ» был сожжен; в уме его мелькал общий план перестройки его, но творчество давно уже не посещало его, да и материалов для постройки у него не было. Все, что ему сообщали о России знакомые, навещавшие его за границей, касалось или литературного мира, или столичных аристократических и правительственных кругов, а не тех провинциальных захолустьев, где жили и действовали его герои. Он много раз обращался к своим приятелям и знакомым в разные города, упрашивая их описывать ему всякие случающиеся там происшествия и давать подробные характеристики как наружных, так и нравственных свойств всех лиц, с которыми они вступали в сношения; но все эти просьбы оставались без исполнения: описывать маловажные происшествия казалось его корреспондентам скучным и бесцельным, а составлять живые характеристики — далеко не легким делом. Гоголь видел, что прежде всего ему необходимо узнать Россию, а узнать ее можно, только самому поездив по ней, пожив в ней. Чтобы иметь возможность жить на родине, он готов был взять какое-нибудь место на государственной службе, хоть самое скромное, но которое давало бы ему возможность наблюдать, собирать материал и писать не торопясь, когда творческая сила снова явится. Тот тяжелый кризис, который ему приходилось переживать в это время, заставил его снова вернуться к давно лелеянному плану путешествия в Иерусалим. Прежде он думал предпринять это путешествие по окончании своего большого произведения, теперь он чувствовал, что не может приняться ни за какое дело, пока не свершит его. Там, у гроба Господня, должна была снизойти на него благодать, которая очистит душу его, разрешит все его сомнения и колебания, покажет ему его путь…

О том, какое значение придавал он этому путешествию, можно заключить по всем его письмам того времени. Всех своих знакомых, которых он знал за людей благочестивых, он упрашивал помолиться, чтобы Бог сподобил его достойно свершить этот подвиг; мать свою просил не выезжать из Васильевки и молиться о нем именно там; он сочинил даже особого рода молитву, которую должны были произносить молящиеся о нем. Сам он всеми силами старался держаться на высоте религиозного настроения, чтобы достойно поклониться гробу Христа Спасителя и «со дня этого поклонения повсюду носить в своем сердце образ Христа», чтобы «восстать от св. гроба с обновленными силами, с духом бодрым и освеженным возвратиться к делу и труду своему на добро земле своей».

В конце 1847 года Гоголь перебрался в Неаполь, а оттуда в январе 1848 года сел на корабль, который должен был привезти его через Мальту в Яффу. Страх и тревога наполняли сердце его; никто из знакомых не ехал с ним, он был один среди чужих, а при слабости его здоровья, при его мнительности это усиливало его волнение. Он принимал это волнение за доказательство слабости своей веры и вдвойне страдал от него. Морская болезнь страшно измучила его, и он чуть живой высадился на берег. Сухопутное путешествие ему пришлось сделать в сопровождении своего бывшего товарища по Нежину, занимавшего место русского консула в Сирии, но это не устранило неудобств пути: приходилось переносить и утомление, и зной пустыни, и жажду. Трудности перенесенного пути естественно отразились на расположении духа Гоголя. Тот поэтический ореол, которым он осенял святые места поклонения, померк перед прозаической обстановкой, на самом деле окружавшей их, перед массой мелких неприятностей и дрязг, какие приходилось преодолеть прежде, чем достигнуть их. Он так давно, в таких ярких красках представлял себе минуту, когда преклонит колена у святого гроба и благодать Божия осенит, очистит его, что действительность не могла не оказаться ниже его ожиданий. «Еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, — говорит он. — У гроба Господня я был как будто затем, чтобы там, на месте, почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия». В ответ на просьбу Жуковского сообщить ему все подробности путешествия по Палестине, он писал ему: «Всякий простой русский человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку св. земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно. Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца… Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился причаститься от св. тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Где-то в Самарии сорвал я полевой цветок, где-то в Галилее — другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции».

Действительность не соответствовала мечте поэта. Чудо, которого он так страстно вымаливал у Бога, не свершилось, но напрасно обвинял он себя в черствости. «Блестит вдали какой-то луч спасения», — говорит он в другом письме, — святое слово — любовь. Мне кажется, как будто теперь становятся мне милее образы людей, чем когда-либо прежде, как будто я гораздо больше способен теперь любить, чем когда-либо прежде».

ГЛАВА VI. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ

Лето в деревне. — Гоголь принимается сызнова за 2-й том «Мертвых душ» и заканчивает его вчерне. — Переезд в Москву. — Чтение первых глав в семье Аксаковых и общий восторг. — Постоянные переделки рукописи. — Гоголя охватывает «страх смерти». — Вторичное сожжение рукописи. — Смерть Гоголя

Из Иерусалима Гоголь через Константинополь и Одессу проехал в Малороссию и провел конец весны и все лето в Васильевке с матерью и сестрами. Это было тревожное лето: революционные движения в разных частях Европы отразились в России, с одной стороны, смутным брожением умов; с другой — строгими мерами правительства по сохранению порядка. К этому присоединилась холера, свирепствовавшая в столицах и многих местностях государства и наводившая панический ужас на население. О политических событиях Гоголь узнавал только из отрывочных известий газет, случайно попадавших в Васильевку, да из осторожных писем своих столичных знакомых; холеру же он видел вокруг себя и в Полтаве, и в окрестностях Васильевки.

Вообще те картины, которые ему пришлось встретить на родине, были неотрадного свойства: домик, в котором жила его мать с сестрами, приходил в разрушение; хозяйство в имении велось неумелой рукой, плохой урожай грозил голодом, всюду бедность, болезни. Нет ничего удивительного, что родные часто видели его грустным, задумчивым, рассеянным.

Он помещался в маленьком флигельке, выходившем в сад, и уединялся туда на все утро, пытаясь заниматься литературной работой: «Хоть что-нибудь вынести на свет и сохранить от всеобщего разрушения — это уже есть подвиг всякого честного человека», — говорит он в одном письме. Второй том «Мертвых душ» был той «гражданской обязанностью», той «службой государству», за которую он снова принялся, освежив силы путешествием. Работа его туго подвигалась вперед, сильная жара изнуряла его, все, что ему приходилось видеть и слышать, болезненно действовало на его нервы. Большую часть дня проводил он не за письменным столом, а в поле, в саду, вникая во все мелочи хозяйства, всех расспрашивая, всем интересуясь. «На все давытця та в усему кохаетця», — рассказывал о нем впоследствии один старый пастух. Он рисовал план нового господского дома в Васильевке, сажал деревья в саду, составлял для матери узоры ковров, которые ткали ее крепостные мастерицы, с наслаждением слушал, как сестры пели малороссийские песни.

В сентябре Гоголь оставил Васильевку и переехал в Москву. Семейство Аксаковых и весь их кружок приняли его с прежним дружелюбием. Недоразумения, вызванные «Выбранными местами из переписки с друзьями», были забыты, и Гоголь стал опять своим человеком у Аксаковых. Почти все вечера проводил он у них и очень часто читал им

что-нибудь вслух: или русские песни, или «Одиссею» в переводе Жуковского. «Прежде чем примусь серьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью», — говорил он. В то же время он не оставлял и «Мертвых душ». Судя по некоторым намекам в его письмах, работа его подвигалась недурно; вероятно, к концу зимы весь второй том был готов вчерне, и после этого он стал заниматься уже чистовой отделкой и переделкой каждой главы. Общество он посещал мало. В больших собраниях был молчалив, рассеян, угрюм. Философские и общественные вопросы, волновавшие в то время умы, были ему не по душе. Он вздыхал по литературным кружкам времен Пушкина и своей молодости, — по тем кружкам, в которых литературные произведения разбирались главным образом с эстетической точки зрения, где об общих вопросах почти не заходило речи, где вместо туманных рассуждений рассказывались остроумные анекдоты, где безобразные явления окружающей действительности вызывали едкую эпиграмму или безобидный смех.

«Время настало сумасшедшее, — писал он Жуковскому. — Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей». Холодность, с какою публика отнеслась к «Одиссее» Жуковского, возмущала его, казалась ему признаком отсутствия вкуса, умственного бессилия общества, и он находил, что ему нечего торопиться с окончанием «Мертвых душ», так как современные ему люди не годятся в читатели, не способны ни к чему художественному и спокойному. «Никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими брожениями, за чтение светлое и успокаивающее душу».

Лето 1849 года Гоголь провел у Смирновой, сначала в деревне, затем в Калуге, где Н. М. Смирнов был губернатором. Там он в первый раз прочел несколько глав из второго тома «Мертвых душ». Первые две главы были совершенно отделаны и являлись совсем не в том виде, в каком мы читаем их теперь. Александра Осиповна помнила, что первая глава начиналась торжественным лирическим вступлением, вроде той страницы, какою заканчивается первый том; далее ее поразило необыкновенно живое описание чувств Тентетникова после согласия генерала на его брак с Уленькой, а в последующих семи главах, еще требовавших, по словам Гоголя, значительной переработки, ей понравился роман светской красавицы, которая провела молодость при дворе, скучает в провинции и влюбляется в Платонова, также скучающего от ничегонеделанья. В Калуге Гоголь не оставлял своей литературной работы и все утро проводил с пером в руке, запершись у себя во флигеле. Очевидно, творческая способность, на время изменившая ему, отчасти вследствие физических страданий, отчасти вследствие того болезненного направления, какое приняло его религиозное чувство, снова вернулась к нему после его путешествия в Иерусалим. О том, какой живостью и непосредственностью обладало в

то время его творчество, можно судить по небольшому рассказу князя Д. Оболенского, ехавшего вместе с ним из Калуги в Москву. Гоголь сильно заботился о портфеле, в котором лежали тетради второго тома «Мертвых душ», и не успокоился, пока не уложил их в самое безопасное место дормеза.[5] «К утру мы остановились на станции пить чай, — рассказывает Оболенский. — Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понес его с собою; это делал он всякий раз, как мы останавливались. Веселое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: «А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?... А вот я вам расскажу...» — и тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно».

Осенью того же года Гоголь гостил в подмосковной у Аксаковых и там читал первую главу второго тома «Мертвых душ». Вот как рассказывает Сергей Тимофеевич об этом чтении: «18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал: «Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»?" Сын мой, Константин, даже встал, чтобы принести их сверху, из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал: «Нет, уж я вам прочту из второго». И с этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь. Не могу выразить, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел 1-ю главу второго тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью. Гоголь несколько устал и, осыпаемый нашими искренними и радостными приветствиями, скоро ушел наверх в свою комнату, потому что прошел час, в который он обыкновенно ложился спать, т. е. 11 часов».

На просьбы Аксаковых прочесть и следующие главы Гоголь отозвался, что они еще не готовы, что в них многое надобно изменить. За это изменение он и принялся по возвращении в Москву. В начале следующего года он еще раз прочел Аксаковым первую главу, и они были поражены удивлением: глава показалась им еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: «Вот что значит, когда живописец дает последнюю тушь своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено — и все выходит другое. Тогда надо печатать, когда все главы будут так отделаны». Оказалось,

что он воспользовался всеми замечаниями, какие Сергей Тимофеевич сделал ему после первого чтения. Вторая глава привела Аксакова в положительный восторг. Он находил, что она еще выше и глубже первой, что Гоголь может выполнить ту свою задачу, о которой самонадеянно говорил в первом томе. В течение зимы Гоголь прочел 3 и 4-ю главы также одним только Аксаковым. Очевидно, весь том был у него готов вчерне, но он находил его недостаточно обработанным и отделывал его тщательно по главам и частям. В то же время он продолжал много читать, интересуясь преимущественно теми сочинениями, в которых описывалась Россия и какие-либо стороны жизни в России.

Зима 1849–1850 годов не прошла для здоровья поэта так благополучно, как предшествовавшая. Он сильно страдал от холода, опять явился у него упадок сил, зябкость, нервность, опять тянуло его погреться на южном солнце. Но теперь он уже твердо решил не покидать Россию и намеревался провести следующую зиму в Одессе. Весной он отправился вместе со своим знакомым, профессором киевского университета Максимовичем, в Малороссию на долгих. Езда на почтовых казалась Гоголю слишком дорогой, да и, кроме того, путешествие на долгих было для него как бы началом осуществления его давнишнего плана: он хотел объездить всю Россию по проселочным дорогам от монастыря к монастырю, останавливаясь отдыхать у помещиков. От Москвы до Глухова они ехали 12 дней; по дороге заезжали к знакомым и в монастыри, где Гоголь молился с большим умилением; в селах заслушивались деревенских песен; в лесу выходили из экипажа и собирали травы и цветы для одной из сестер Гоголя, занимавшейся ботаникой.

Лето Гоголь провел в Васильевке, опять в кругу родных, в заботах о саде и новом доме; осенью жил в Москве, а на зиму перебрался в Одессу. Здоровье его было все время довольно плохо: летняя жара расслабляла его, зима, даже в Одессе, казалась ему недостаточно теплой, он жаловался на морской ветер, на невозможность согреться. Впрочем, работа его подвигалась, и он уже начал в письмах намекать на скорое окончание ее. Из Одессы он писал Шевыреву, что следует предпринять 2-е издание его сочинений, так как после выхода 2-го тома «Мертвых душ» на них явится спрос, а поздравляя Жуковского с новым 1851 годом, он говорит ему: «Работа идет с прежним постоянством и хоть еще не окончена, но уже близка к окончанию». — «Покуда писатель молод, он пишет много и скоро. Воображение подталкивает его беспрерывно; он творит, строит очаровательные воздушные замки, и немудрено, что писанью, как и замкам, нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом, и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть пока в немногих избранных и лучших, тут

воображение немного подвинет писателя, нужно добывать с боя всякую черту».

Проведя весну в Васильевке, Гоголь, несмотря на сильную жару, вернулся среди лета в Москву с тем, чтобы скорее приступить к печатанью своего произведения. Но чем больше перечитывал и переправлял он его, тем более оставался недоволен разными частностями, тем более считал переделки необходимыми. В октябре 1851 года он даже сказал жене Сергея Тимофеевича Аксакова, что не стоит печатать второй том, что в нем все покуда не годится и что надо все переделать. Впрочем, подобные мысли являлись у него, очевидно, редко, в минуты отчаяния и особенного недовольства собою. Вообще же он аккуратно каждый день проводил несколько часов за своим письменным столом, подготовляя к печати как полное собрание своих сочинений, так и второй том «Мертвых душ».

До сих пор осталось невыясненным, к чему клонились те бесконечные поправки, которым он подвергал свои «Мертвые души». Подсказывало ли ему более зрелое художническое чутье, что его добродетельные герои, его Костанжогло, Муразов, генерал-губернатор не «состроены из такого же тела, как и мы», что это лица выдуманные, что «мертво и холодно все то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как правда»; или, может быть, в припадках религиозного самобичевания он отвергал великое значение своего художественного таланта и силился сочинить образцы добродетели, которые должны были послужить назидательным примером для современников и для потомства. Во всяком случае он работал много и серьезно: в душе его часто происходила тяжелая борьба между художником и пиетистом, и борьба эта под конец сломила его от природы слабый организм.

То религиозное настроение, под влиянием которого он предпринимал путешествие в Иерусалим, не покидало его. Он не говорил о нем с людьми, равнодушными к религиозным вопросам, но оно явно сказывалось во всех его письмах к матери, к сестрам и к тем лицам, которых он считал одинаковых с собою убеждений. Он усердно читал Четии-Минеи и разные книги духовного содержания, любил посещать монастыри, со слезами молился в церквах...

* * *

Зиму 1851—52 года он чувствовал себя не совсем здоровым, часто жаловался на слабость, на расстройство нервов, на припадки тоски, но никто из знакомых не придавал этому значения, все знали, что он мнителен, и давно привыкли к его жалобам на разные болезни. В кругу близких приятелей, в тех домах, куда он мог приходить «без фрака», он был иногда по-прежнему весел и шутлив, охотно читал свои и чужие произведения, напевал своим «козлиным» — как сам он называл — голосом малороссийские песни и с наслаждением слушал, когда их пели

хорошо. К весне он предполагал уехать на несколько месяцев в свою родную Васильевку, чтобы там укрепиться в силах, и обещал приятелю своему Данилевскому привезти ему уже совсем готовый второй том «Мертвых душ».

В конце января 1852 года умерла жена Хомякова, урожденная Языкова, сестра поэта, с которым Гоголь был очень дружен. Гоголь всегда любил и высоко ценил ее, называя одною из достойнейших женщин. Ее почти скоропостижная смерть (она болела очень недолго) сильно потрясла его. К естественной горести об утрате близкого человека у него примешивался ужас перед открытой могилой. Его охватил тот мучительный «страх смерти», который он испытывал не раз и прежде. Он признался в нем своему духовнику, и тот старался успокоить его, но напрасно. На масленой Гоголь начал говеть и прекратил все свои литературные занятия; у знакомых он бывал и казался спокойным, только все замечали, что он очень похудел и побледнел. Все эти дни он не ел ничего, кроме просфоры, а в четверг — исповедовался у своего духовника в отдаленной части города и причастился. Перед принятием святых даров Гоголь молился, обливаясь слезами. Священник заметил, что он очень слаб, еле держится на ногах. Несмотря на то, он вечером опять приехал к нему и просил отслужить благодарственный молебен. Во все время говенья он проводил ночи без сна на молитве, и в ночь с пятницы на субботу ему вдруг послышались голоса, говорившие, что он скоро умрет. Он тотчас разбудил слугу и послал его за священником, чтобы пособороваться, но, когда священник пришел, он несколько успокоился и отложил совершения таинства до другого дня. Мысль о близкой смерти не оставляла его. Второй том «Мертвых душ», его заветное произведение, был уже готов к печати, и он хотел оставить его на память друзьям своим. Он позвал к себе графа А. П. Толстого, в доме которого жил, просил его взять рукопись к себе и после его смерти отвезти ее к одному духовному лицу, которое должно было решить, что из нее можно напечатать. Граф Толстой не согласился взять бумаги, чтобы не показать больному, что друзья считают положение его опасным. Ночью, оставшись один, Гоголь снова испытал те ощущения, которые описывал в своей «Переписке с друзьями». Душа его «замерла от ужаса при одном только представлении загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих; весь умирающий состав его застонал, почуяв исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся». Его произведение представилось ему, как представлялось часто и прежде, исполнением долга, возложенного на него Создателем; его охватил страх, что долг этот выполнен не так, как предначертал Творец, одаривший его талантом, что писанье его, вместо пользы, вместо приготовления людей к жизни вечной, окажет на них дурное, растлевающее влияние. Долго со слезами молился он; потом в

три часа ночи разбудил слугу своего, велел ему открыть трубу в камине, отобрал из портфеля бумаги, связал их в трубку и положил в камин. Слуга бросился перед ним на колени и умолял его не жечь бумаги. Углы тетрадей обгорели, и огонь стал потухать. Гоголь велел развязать тесемку и сам ворочал бумаги, крестясь и молясь, пока они не превратились в пепел. Слуга плакал и говорил: «Что это вы сделали!»

«Тебе жаль меня?» — сказал Гоголь, обнял, поцеловал его и сам заплакал.

Он вернулся в спальню, лег на постель и продолжал горько плакать. Наутро, когда свет дня рассеял мрачные картины, рисовавшиеся воображению его ночью, ужасное аутодафе, которому он подверг свое лучшее, любимое создание, представилось ему в ином виде. Он с раскаяньем рассказывал о нем графу Толстому, считал, что оно было сделано под влиянием злого духа, и жалел, что граф не взял у него раньше рукописи.

С этого времени он впал в мрачное уныние, не пускал к себе друзей или, когда они приходили, просил их удалиться под предлогом, что хочет спать; он почти ничего не говорил, но часто писал дрожащею рукою тексты из Евангелия и краткие изречения религиозного содержания. От всякого лечения он упорно отказывался, уверяя, что никакие лекарства не помогут ему. Так прошла первая неделя поста. В понедельник на второй духовник предложил ему приобщиться и пособороваться. Он с радостью согласился на это, во время обряда молился со слезами, за Евангелием держал слабой рукой свечу. Во вторник ему стало как будто легче, но в среду у него сделался страшный припадок нервной горячки, и в четверг, 21 февраля, он скончался.

Весть о смерти Гоголя поразила всех его друзей, до последних дней не веривших его мрачным предчувствиям. Тело его как почетного члена московского университета было перенесено в университетскую церковь, где оставалось до похорон. На похоронах присутствовали: московский генерал-губернатор Закревский, попечитель московского учебного округа Назимов, профессора, студенты университета и масса публики. Профессора вынесли гроб из церкви, а студенты на руках несли его до самого Данилова монастыря, где он опущен в землю рядом с могилой поэта Языкова. На надгробном памятнике Гоголя вырезаны слова пророка Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся».

Умер великий писатель, а с ним вместе погибло и произведение, которое он создавал так долго, с такою любовью. Было ли это произведение плодом вполне развитого художественного творчества или только воплощением в образах тех идей, какие выражаются в «Выбранных местах переписки с друзьями» — это тайна, которую поэт унес с собою в могилу.

Найденные в бумагах его и изданные после его смерти отрывки принадлежат к более ранним редакциям поэмы и не дают понятия о том, какой вид она приняла после окончательной обработки автора.

Как мыслитель, как моралист Гоголь стоял ниже передовых людей своего времени, но он был с ранних лет одушевлен благородным стремлением приносить пользу обществу, живым сочувствием к человеческим страданиям и находил для их выражения поэтический язык, блестящий юмор, живые образы. В тех произведениях, в которых он отдавался непосредственному влечению творчества, его наблюдательность, его могучий талант глубоко проникали в жизненные явления и своими ярко правдивыми картинами человеческой пошлости и низости содействовали пробуждению общественного самосознания.

Примечания

1

Она напечатана в «Арабесках» под названием «О характере истории средних веков».

2

Ботанический сад (Франц.).

3

Контрафакция (Франц. contrefaction) — нарушение авторского права, заключающееся в воспроизведении и распространении чужого произведения лицом, на то неправомочным.

4

Пиэтизм (пиетизм) — (Лат. «pietas») — благочестие ложное притворное благочестие.

5

Дормез (Франц. dormeuse) — старинная дорожная карета, приспособленная для спанья.
